МИРА РЕЙН

НЕЗАБУДКИ

Книга первая.

ПЕРВЫЙ СНЕГ



Мира Рейн

Незабудки. Первый снег. Книга первая

Серия «Незабудки», книга 1

https://litres.ru/74749324
SelfPub; 2026

Аннотация

Сибирь, 2071 год. Сорок лет назад вместе с первым снегом пришёл иней — споры, которые каждую осень стирают людям память о прожитом годе. Чтобы не потерять себя, жители Беспамятья пишут на коже: на левой руке — имя, на правой — кому верить. И только под Куполом люди помнят всё. Точнее, то, что им разрешает помнить Летопись.

Семнадцатилетняя охотница Вета Ковалёва не забывает ничего. Это её тайна и её приговор: за такими, как она, охотится Купол. Но когда Сборщики увозят её больного брата, Вета сама вызывается на Перегон — смертельную гонку длиной в 612 километров через мёртвую тайгу, за которой следит весь Купол. Победителю обещаны гражданство и право забрать одного родного человека. На пути — Пустые, предатели и снег, который Купол может вызвать раньше срока.

Её пастырь на Перегоне — Яр, сын Главного Летописца. Два года назад Вета вытащила его из ледяного ручья и целую зиму учила жить заново. Он её не помнит.

А она не может забыть.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАРУБКИ 7
Глава 1. Две строчки 7
Глава 2. Серые нашивки 24
Глава 3. Третья строчка 39
Глава 4. Вниз по Ангаре 55
Глава 5. Красноярск 71
Глава 6. Старт 88
Конец ознакомительного фрагмента. 101

Мира Рейн Незабудки. Первый снег. Книга первая

МИРА РЕЙН
НЕЗАБУДКИ
Книга первая
ПЕРВЫЙ СНЕГ
16+
Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАРУБКИ 3
Глава 1. Две строчки 3
Глава 2. Серые нашивки 13
Глава 3. Третья строчка 22
Глава 4. Вниз по Ангаре 31
Глава 5. Красноярск 41
Глава 6. Старт 51
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТАЙГА 60
Глава 7. Чужие следы 60
Глава 8. Пустые 70
Глава 9. Ачинск 82
Глава 10. Костёр 94
Глава 11. Урюп 102

Глава 12. Прогноз 115
Глава 13. Мариинск 126
Глава 14. Первый снег 138
Глава 15. Пересказ 148
Глава 16. Пульс 158
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОРОТА 168
Глава 17. Приказ 168
Глава 18. Предательство 177
Глава 19. Охота 189
Глава 20. Юрга 205
Глава 21. Последние сто километров 216
Глава 22. Ворота 227
Глава 23. Летопись 237
Глава 24. Запись № 2069-11-03 248

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАРУБКИ

Глава 1. Две строчки

В Подкаменке говорили: если ты проснулся и не знаешь, кто ты, — читай руки. На левой у каждого написано имя, на правой — кому верить.

У меня на руках всего две строчки. Мама наколола их, когда мне было шесть: «Ты Вета» на левом запястье, «Береги Сёму» на правом. Сёма тогда был красный и сморщенный, лежал в корзине у печки и орал так, что с потолка сыпалась труха. Я сидела у мамы на коленях, кусала губы, чтобы не реветь от иглы, и смотрела на него. Помню, как пахла сажа, разведённая на кедровом масле. Помню, как мама дула мне на руку. Помню, что она сказала: «Это на случай, если забудешь».

Мне никогда не нужно было их читать. Я помню всё.

А в прошлом ноябре, когда выпал первый снег, Сёма прочёл свою руку, посмотрел на меня и спросил:

— А ты кто?

* * *

Снег в этом году ждали к концу октября.

Ждали не по погоде: погоде в Подкаменке давно никто не верил. Ждали по Книге. Бабка Устинья вела её с тех пор,

как появился иней, и в Книге за каждый год было записано, когда выпал первый снег. Двадцать шестое октября, второе ноября, девятнадцатое октября, снова второе ноября. Сорок строчек столбиком, сорок зим. Устинья водила по ним пальцем, шевелила губами и говорила: «Числа к двадцать восьмому. Плюс-минус неделя». Ни разу она не ошиблась больше чем на неделю.

Сегодня было пятнадцатое. Значит, оставалось от шести дней до двух недель. Канун.

Я лежала в брусничнике над Лосиным ключом и ждала глухаря.

Он ходил внизу, у ручья: большой, чёрный, с красной бровью, важный, как староста на сходе. Клевал мелкие камешки на галечнике. Глухарям камешки нужны в зобу, чтобы перетирать хвою, и осенью они спускаются к воде. Ветер тянул от него ко мне, так что он меня не чуял. Я лежала уже минут двадцать и почти не дышала. Левая нога затекла, и в неё будто натолкали иголок.

У меня оставалось одиннадцать стрел. Патронов для обреза было четыре, и их я берегла на то, что не стрела не возьмёт. На глухаря тратить патрон было глупо, а промахнуться стрелой — тоже глупо: стрелу потом ищи в ручье. Так что я ждала, пока он встанет боком.

Он встал.

Тетива щёлкнула по кожаному наручу. Глухарь подпрыгнул, раскрыл крылья, хлопнул ими раз, другой — и повалил-

ся в воду. Я сбежала вниз по склону, оскальзываясь на мокрых корнях, и успела схватить его, пока течение не утащило под коряжник. Тяжёлый, килограмма на четыре. Горячий. Стрела вошла чисто, под крыло.

— Спасибо, — сказала я ему. Так учила мама. Не знаю, кому это нужно, ему или мне.

Я отвязала от пояса шнурок, связала глухарю лапы и закинула его за спину. Потом присела у ручья умыться. Вода была такая холодная, что заломило зубы, и пахла она уже не летом, а камнем и прелым листом. По краям, где ручей замедлялся у камней, держался тонкий прозрачный ледок, утренний. К полудню он растает, а через неделю перестанет таять.

Я посмотрела на небо. Оно было высокое, белёсое, без единого облака, и солнце висело в нём низко и бледно, как на исходе дня, хотя было едва за полдень. Хорошее небо. Пустое. Снег приходит с северо-запада, с серыми тяжёлыми тучами, которые наползают из-за Тунгусского кряжа и садятся на сопки брюхом. Таких туч пока не было.

Пока.

Каждый раз, когда я смотрю на осеннее небо, у меня внутри что-то сжимается, и я ничего не могу с этим сделать. Как будто я зверь, который чует пожар.

* * *

Петли я проверила на обратном пути: две пустые, в третьей заяц, уже побелевший наполовину. Заяц всегда знает

раньше всех. Шкурка у него на спине ещё была бурая, а лапы и брюхо уже белые, будто он вляпался в снег, которого пока нет. Я сунула его в мешок к глухарю и пошла вниз, к реке.

Подкаменку видно издалека, если знать, куда смотреть. Сначала дым: над посёлком всегда висит сизое облако, потому что топят все и всегда. Потом крыши — тёмные, тесовые, покрытые зелёным мхом, а у кого побогаче — старым железом, снятым с брошенных складов в Кодинске. Потом изгородь из лиственничного кругляка в два моих роста, с заострёнными верхушками. Потом Ангара.

Ангара в этом месте широкая и тёмная, почти чёрная, и течёт так тихо, что кажется — стоит. Это неправда. Она очень быстрая, и в ней тонут каждый год. До Оттепели, говорит Устинья, выше по течению стояла плотина, огромная, как гора, а за ней было море. Потом пришла Оттепель, земля под плотиной поплыла, и море ушло вниз по реке за одну ночь. Посёлков, которые стояли ниже, не стало. Подкаменку отстроили заново уже потом, на высоком берегу, те, кто уцелел. Устинья была из уцелевших. Ей тогда было тридцать. Сейчас ей семьдесят один.

На воротах сегодня стоял Митька Ерёмин, сын старосты. Он сидел на чурбаке под навесом, зажав между колен ружьё, и строгал что-то ножом.

— Ковалёва, — сказал он и сдвинул шапку на затылок. — Чего несёшь?

— Глухаря.

— Одного?

— И зайца.

— А мне?

— А ты попроси, — сказала я.

Он засмеялся и откинул засов. Митьке восемнадцать, он здоровый и рыжий, и в прошлом году он целую весну ходил за мной следом и звал на вечёрки. Потом выпал снег, и он забыл. В этом году он про меня ничего такого не помнит, и я ему за это благодарна. В Подкаменке так бывает со всеми: каждую зиму начинаешь заново. Кто-то от этого плачет. Кто-то радуется. Митька, например, не знает, что в прошлом мае я разбила ему нос, когда он полез целоваться. В Книге этого нет. Такого в Книгу не записывают.

Я записывать не стала. Я и так помню.

* * *

Посёлок перед снегом похож на растревоженный муравейник. Все куда-то бегут, всё надо успеть. Бабы на мостках у реки полощут бельё, потому что потом вода замёрзнет. Мужики конопатят избы и таскают дрова. Возле коптильни дымно и шумно: там развешивают последнюю рыбу. Но главная работа в Канун не у реки и не у коптильни. Главная работа — в Книжной избе и за каждым столом в каждом доме.

В Канун пишут.

Пишут всё, что надо помнить. Кто тебе должен и сколько. Кому должен ты. Где закопал заначку. Чей ребёнок родился летом, кто умер, кто на ком женился. Как зовут ново-

го пса. Кто в посёлке вор. Кто хороший. Пишут на бересте, потому что бумаги нет, гвоздём или угольком, мелко-мелко. Берестяные листы потом несут Устинье, и она вшивает их в Книгу — огромную, в обложке из лосиной кожи, толстую, как бревно. Книг уже двенадцать. Они стоят в Книжной избе на полке вдоль стены, и это единственное место в Подкаменке, где запрещено топить печь. Там всегда холодно, как в погребе.

А самое важное — то, без чего не проснёшься человеком, — пишут на коже.

Я шла по улице и видела, как дядя Фёдор Брусницын сидит на крыльце с голым плечом, а его жена, тётка Груня, склонилась над ним с иглой. Плечо у него уже было всё в строчках, как страница: синие буквы, мелкие и крупные, ровные и кривые, какие-то совсем выцветшие, какие-то свежие и припухшие. Тётка Груня дописывала новую. Я прочитала, проходя мимо: «Огород за баней наш, Сенька Кутузов врёт».

Я чуть не засмеялась. С Сенькой Кутузовым они спорят про этот огород каждую весну, и каждую весну Сенька говорит, что огород его, и каждую весну у Брусницыных на руке написано, что Сенька врёт. Сенька, кстати, тоже не дурак. У него на руке написано: «Огород за баней Брусницыных мой. Фёдор врёт». Устинья говорит, они воюют за этот огород двадцать два года, хотя ни один из них не помнит, с чего началось. В Книге это тоже есть, но в Книге написано,

что огород был ничейный и что лучше бы они его поделили. Никто Книгу в этом месте не читает.

Старые люди в Подкаменке исписаны с ног до головы. У Устиньи нет на теле ни одного чистого места, кроме лица: зарубки на руках, на плечах, на груди, на животе и на бёдрах, сорок лет записей. Лицо писать нельзя, это закон. Лицо — чтобы люди тебя узнавали. Хотя после снега тебя всё равно никто не узнаёт.

У меня две строчки. Люди думают, что так вышло потому, что мама рано ушла и мне некому было колоть. Я не спорю.

Когда я была маленькой и в первый раз спросила маму, почему у меня не так, как у всех, она взяла моё лицо в ладони и сказала очень тихо:

— Потому что ты незабудка. И об этом никто не должен знать. Никто, Вета. Ни Устинья, ни староста, ни твоя лучшая подруга, ни твой будущий муж. Никто. Поняла?

Я кивнула. Мне было пять, и мне казалось, что это красивое слово — как цветок. Незабудки растут у нас по берегам ручьёв в июне, маленькие и голубые, с жёлтой серединкой.

— А если узнают? — спросила я.

Мама долго не отвечала. Потом сказала:

— Тогда за тобой придут.

— Кто?

— Люди в серых куртках.

Больше она ничего не объяснила. Но я запомнила. Я, как вы понимаете, всё запоминаю.

С тех пор каждый год, в ночь Пересказа, я сажусь вместе со всеми, засучиваю рукава и читаю свои руки. Шевелю губами. Морщу лоб. Делаю вид, что вспоминаю. «Ты Вета. Береги Сёму». А потом поднимаю глаза и смотрю на людей вокруг так, будто вижу их впервые.

Я очень хорошо умею так смотреть. Я тренировалась перед зеркалом.

* * *

Наш дом стоит на краю, у самой изгороди, там, где улица упирается в лес. Он маленький, на одну комнату с печью, и крыльцо у него просело на левый угол. Летом я собиралась его поднять и не подняла. Не успела.

Сёма сидел на этом кривом крыльце и рисовал.

Рисует он всё время, сколько себя помнит. То есть сколько я его помню, потому что сам он помнит только последний год. Рисует углём на досках, на бересте, на снегу палкой, пальцем на запотевшем стекле. У него хорошо получается. Лучше, чем у всех в посёлке. Устинья говорит, что, если бы он родился до Оттепели, его бы учили в художественной школе, и что когда-то такие школы были в каждом городе. Я не знаю, правда ли это. Устинья много чего рассказывает про До, но сама уже половину не помнит — по ней видно, как она останавливается посередине фразы и замолкает.

— Привет, — сказала я.

Сёма поднял голову. Ему девять лет. Он тонкий, как стебель, и светлый — весь в маму, у меня-то волосы тёмные. На

нём был мой старый свитер, который я ему отдала, и рукава свешивались до кончиков пальцев.

— Привет, Вета, — сказал он вежливо. — Ты кого принесла?

Раньше он звал меня Веткой. Только он один. «Ветка, Ветка, дай конфетку». Конфет у нас отродясь не было, но ему нравилось, как это звучит. Он звал меня Веткой с тех пор, как научился говорить, и ни разу — Ветой. Целых семь лет.

А потом выпал снег.

У детей снег глубже. Так у нас говорят. Взрослые забывают год — от снега до снега. А детей до двенадцати-тринадцати лет иней иногда забирает целиком. Не всех, не всегда. Но часто. Поэтому детям колют зарубки с первого года: имя, мама, папа, дом. Поэтому в Пересказ детей сажают в середину круга, и все по очереди читают им, кто они.

Сёма в прошлом ноябре проснулся пустой, как новая береста. Он не помнил ни меня, ни Устинью, ни посёлка, ни своего имени. Он прочёл свою руку, на которой мама успела написать «Ты Сёма. Вета — твоя сестра», и спросил: «А ты кто?»

И я ответила ему: «Я Вета».

Мне пришлось знакомиться со своим братом заново. Как с чужим. Я рассказала ему про маму. Про то, как он в три года упал в бочку с водой и я его вытаскивала. Про то, как он боялся петуха Брусницыных. Про всё. Он слушал, кивал и верил, потому что на его руке было написано, что я его

сестра, а значит, мне можно верить.

Но верить и помнить — разные вещи. За год он ко мне привык. Он меня, по-моему, даже полюбил — как можно полюбить хорошую соседку, которая кормит, лечит и укрывает ночью. Но Веткой он меня больше не зовёт. Я один раз попросила. Он сказал: «Ладно», а потом всё равно забывал. Не так, как забывают от инея. Просто это было не его слово. Его слово осталось там, в той зиме.

— Глухаря и зайца, — сказала я и положила мешок на крыльцо. — Покажи, чего рисуешь.

Он повернул ко мне доску. Там была река. Ангара, наш берег, лодки у мостков, а над рекой — большая птица с длинной шеей и распахнутыми крыльями, как журавль, только какая-то угловатая и неправильная.

— Это кто?

— Не знаю, — сказал Сёма. — Приснилось.

Он закашлялся. Кашель у него был плохой — сухой, мелкий, как будто что-то рвётся внутри. Он согнулся, прижал к губам рукав. Я села рядом и положила ладонь ему на спину и ждала. Под свитером торчали лопатки, и сердце колотилось часто-часто, неровно, как у пойманной птицы. Когда он выпрямился, губы у него были синеватые. Не сильно. Но были.

— Ты пил отвар?

— Пил.

— Весь?

— Почти.

— Сёма.

— Он горький, — сказал Сёма и посмотрел на меня так, что я не смогла на него злиться. Я и раньше не могла. Это у него тоже осталось — то, как он смотрит. Иней этого не забрал.

* * *

Фельдшер Пахомыч сказал мне в сентябре то, что я и так знала. У Сёмы больное сердце. С рождения. Там какая-то дырка между частями сердца, которая должна была зарасти и не заросла. Пока он был маленький, это было не страшно. Теперь он растёт, а дырка — нет, и сердцу тяжело.

— Это лечится, — сказал Пахомыч. — Лечилось. До Оттепели такое зашивали детям каждый день, Вета. Это не сложная операция. Не самая сложная.

— А сейчас?

Он снял очки и долго протирал их краем рубахи. Очки у него старые, перемотанные проволокой, одно стекло треснуто.

— Сейчас — только в Куполе.

— А без операции?

— Без операции, — сказал Пахомыч и надел очки обратно, — я бы сказал, год. Может, два. Если повезёт и зима будет мягкая.

Зимы у нас мягкими не бывают.

Я тогда вышла от него и пошла в лес, далеко, до самой Кривой сопки, и сидела там до темноты. Думала. Купол —

это Новосибирск. Это шестьсот с лишним километров отсюда по прямой, а по прямой у нас никто не ходит. В Купол не пускают никого из Беспамятья, кроме тех, кого забирают Сборщики. А тех, кого забирают, в Купол привозят как зимников и при въезде стирают им всё, что осталось. Так говорят. Говорят, зимники работают на фабриках и в теплицах, и им хорошо, потому что у них тепло и еда и они не знают, что когда-то жили по-другому. Говорят, они даже счастливы.

Я не знаю, правда ли это. Никто не знает. Из Купола никто не возвращался.

Я тогда сидела на Кривой сопке и думала, что, может быть, это не так уж плохо. Сёма всё равно меня не помнит. Если его заберут, он забудет ещё раз — и что? Зато ему зашьют сердце. Зато он будет жить.

А потом я представила себе, как он стоит где-то в белом тёплом коридоре, в чистой одежде, взрослый, и к нему подходят и говорят: «У тебя была сестра», а он отвечает: «Какая сестра?» Вежливо. Как говорит мне: «Привет, Вета».

И я заплакала первый раз с того дня, как ушла мама.

* * *

Вечером я пошла к Устинье. С глухарём.

Книжная изба стоит в середине посёлка, рядом с колодцем, и рядом с ней есть ещё одна изба — жилая, маленькая, где Устинья живёт. В Книжной она только работает. Когда я вошла, Устинья сидела за столом при лучине, в двух платках и в овчинной безрукавке, и вшивала в Книгу новые листы.

Перед ней лежала стопка бересты, и она брала лист, читала его, водя пальцем, иногда что-то бормотала, потом прокалывала шилом три дырки по краю и протягивала в них суровую нитку.

— Ветка, — сказала она, не поднимая головы. — Глухаря принесла? Слышу, что глухаря.

Она одна называет меня Веткой. Не знаю, откуда она это взяла. Может быть, от мамы. Может, из Книги. А может, сама придумала. Я никогда не спрашивала.

— Глухаря.

— Клади в сенях. Как Сёма?

— Кашляет.

Устинья подняла голову. Лицо у неё маленькое, коричневое и сморщенное, как сушёное яблоко, а глаза светлые и яркие, как у ребёнка. Тело под платками всё исписано, а лицо чистое. Иногда мне кажется, что Устинья — сама как Книга, и всё, что в ней важно, спрятано под одеждой.

— Садись, — сказала она.

Я села на лавку.

— Пахомыч ходил ко мне, — сказала Устинья. — Говорил про Сёму. Я записала.

Она перевернула несколько листов и показала мне. Мелкий, острый почерк, похожий на следы птичьих лапок: «Сёма Ковалёв, 9 лет. Сердце. Нужен Купол. Год-два. Пахомыч, 21 сент.».

— Зачем? — спросила я.

— Затем, что, если я провалюсь этой зимой, кто-то должен знать. Ты-то, конечно, прочитаешь свою руку, увидишь «Береги Сёму» и будешь беречь. А как беречь, и от чего, и сколько у тебя времени — это кто тебе скажет? Рука?

Я промолчала.

Устинья смотрела на меня долго, и мне стало неуютно. У неё такой взгляд, как будто она читает тебя, как бересту.

— Ты в этом году сколько написала? — спросила она.

— Чего?

— В Книгу. Сколько листов принесла? Ни одного. И в прошлом году — ни одного. И в позапрошлом. — Устинья постучала пальцем по столу. — Двенадцать лет я тебя записываю, Ветка, а ты сама ни разу не принесла мне ни листочка. Все приносят, даже Митька Ерёмин, который не умеет писать, — и тот приносит, ему мать пишет. А ты нет.

У меня внутри всё похолодело.

— Мне нечего писать, — сказала я. — Живу и живу.

— Ага, — сказала Устинья. — И руки у тебя чистые.

— Мама не успела.

— Ага, — сказала Устинья снова. Она взяла следующий лист бересты, прочла его и стала прокалывать шилом. — А в позапрошлом году, — сказала она, не глядя на меня, — из третьей Книги за этот год пропала страница. Из ноябрьских. Кто-то вырезал ножом, аккуратно, по самому корешку. Я сначала думала — мыши. Потом посмотрела: нет, не мыши. Ножом.

Я не дышала.

— Я в позапрошлом году, — продолжала Устинья, — сама ничего не помню, сама понимаешь. Год — от снега до снега. Что там было в той странице, я не знаю. Но я пересчитывала листы. Я все листы пересчитываю, каждую зиму, и числа пишу на внутренней стороне обложки. Так вот, в ноябре позапрошлого года листов было на один больше.

Она подняла на меня глаза.

— А кто в Подкаменке, кроме меня, ходит в Книжную избу и сидит тут вечерами?

Я встала.

— Мне пора. Сёма один.

— Сядь, — сказала Устинья.

Я села.

Мы молчали. Лучина потрескивала. В углу скреблась мышь. Устинья положила шило.

— Я старая, — сказала она наконец. — Я провалюсь, может, этой зимой, может, следующей. Кто будет вести Книгу? Кто будет её читать? Не Митька же. Мне всё равно, Ветка, что ты там вырезала. Не моё дело. И кто ты есть, мне тоже всё равно. Но ты бы подумала. Нельзя всю жизнь сидеть с чистыми руками и делать вид. Однажды тебе это аукнется.

— Я не понимаю, о чём ты, — сказала я.

Устинья вздохнула.

— Ну и ладно, — сказала она. — Иди. Глухаря спасибо.

Я ушла. На улице было уже почти темно, и по небу с севе-

ро-запада ползла полоса, лиловая с серым. Не туча ещё. Но где-то там, за кряжем, она собиралась.

* * *

Есть ещё одна вещь, которую в Подкаменке помню только я.

Я не люблю о ней думать. Я её запираю. Как Устинья запирает Книжную избу на ночь — на тяжёлый засов, и ещё подпирает дверь поленом. Но в Канун, когда небо становится таким, как сейчас, засов не держит.

Это было два года назад. В ноябре. Я вырезала про это страницу из Книги, потому что в этой странице было написано такое, за что Сборщики, если бы прочли, сожгли бы весь посёлок. А Сборщики читают наши Книги. Каждый раз, когда приходят.

Больше я ничего про это не скажу. Пока.

* * *

Дома Сёма уже спал на печи, свернувшись, как кошка, и я долго стояла и слушала, как он дышит. Неровно. С присвистом. Потом я ощипала глухаря, разделала зайца и поставила вариться бульон на утро. Потом села у окна точить нож и смотрела в темноту, туда, где за изгородью под высоким берегом текла Ангара.

На реке было тихо.

Потом — уже за полночь, когда я легла и почти заснула, — над рекой раздался звук. Низкий, долгий, хриплый, похожий на рёв лося, только в сто раз сильнее. Звук прокатился по

воде, ударился о сопки на том берегу и вернулся обратно, и в доме задрожало стекло.

Сёма проснулся и сел на печи.

— Что это? — спросил он испуганно.

Я уже стояла у окна. Внизу, на чёрной воде, двигался огонь. Два огня — белый и красный, — а между ними огромная тёмная тень, длинная, угловатая, с высоким носом, как шея у птицы.

— Это пароход, — сказала я. — Спи.

Но я знала, что это за пароход. Его знают по всей Ангаре. Он приходит каждую осень, перед самым снегом, и уходит с десятиной. Он называется «Стерх». Белый журавль.

Сёма, который ничего не помнил, нарисовал его вчера на доске. Ему приснилось.

Гудок раздался ещё раз. Во всех домах начали зажигаться огни.

Пришли Сборщики.

Глава 2. Серые нашивки

Сборщики не сходят на берег ночью. Это все знают. Ночью «Стерх» стоит посреди реки на якоре, с погашенными огнями, кроме двух — белого и красного, — и с палубы светят прожекторы. Лучи ползают по берегу медленно, как пальцы слепого, и ощупывают изгородь, крыши, мостки, лодки. Ощупывают окна. Кто встанет к окну, того высветит, и свет ударит в глаза так, что потом долго плавают зелёные пятна.

Я к окну больше не подходила. Сидела на полу у печи, прислонившись к ней спиной, и держала Сёму за руку. Он не спал. Я рассказывала ему про «Стерх» — шёпотом, всё, что знала.

Что это старый ледокол, ещё из До. Что раньше он ходил по Енисею, а потом его переделали под Державу: обшили бронёй, поставили на нос пулемёт, а на корму — вертушку, маленький вертолёт, который садится прямо на палубу. Что на нём сорок человек команды и человек двадцать Сборщиков. Что приходит он раз в год, в Канун, а уходит через день или два с десятиной.

— А что такое десятина? — спросил Сёма.

— Налог. Держава берёт с каждого посёлка десятую часть. Пушнину, золото, если намыли. Рыбу.

— А детей?

Я замолчала. Он в прошлом году видел, как забирали детей. Он этого не помнит. Но, наверное, на каком-то другом уровне, глубже памяти, где-то внутри всё-таки помнил, раз нарисовал «Стерх».

— Иногда, — сказала я. — Сирот. Тех, у кого нет записей.

— Как это — нет записей?

— Если у ребёнка нет зарубок и его никто не записал в Книгу, значит, он ничей. Тогда его могут забрать.

Сёма подумал и посмотрел на свою руку. Там было написано: «Ты Сёма. Вета — твоя сестра». И ниже, уже моим почерком, кривовато: «Дом — у изгороди, крыльцо косое».

— У меня есть записи, — сказал он.

— Есть.

— Значит, меня не заберут.

— Не заберут, — сказала я.

Он заснул под утро у меня на коленях. А я сидела, смотрела, как ползают по стене бледные пятна прожекторов, и думала про то, что у него, кроме записей, есть кое-что ещё. У него есть сердце с дыркой.

* * *

Утром ударили в рельс у Книжной избы — три раза, потом ещё три. Это значит: все на сход.

Сход у нас на пустыре между колодцем и Книжной избой. Когда я пришла туда с Сёмой, там уже стоял весь посёлок — двести с лишним человек. Стояли тихо. В Подкаменке и в обычный-то день не болтливы, а сейчас даже собаки не

лаяли. Только где-то в задних рядах всхлипывала женщина, и её одёргивали.

«Стерх» подошёл к нашим мосткам на рассвете. Мостки у нас ему, конечно, малы — он просто встал рядом, у глубокого места, и перекинул на берег трап. Вблизи он был ещё страшнее, чем ночью. Серый, весь в ржавых потёках, с бронированными плитами по бортам, на которых остались вмятины и чёрные следы, похожие на ожоги. С высокой надстройкой, на которой торчали антенны, прожекторы и тарелки локаторов. На носу под брезентом угадывалась толстая шея пулемёта. А на борту, по броне, — белая краска: журавль с раскинутыми крыльями. Неправильный, угловатый. Точь-в-точь как на Сёминой доске.

Сборщиков было человек пятнадцать. Они шли от реки двумя рядами, и я невольно смотрела на них так, как смотрю на зверя: сколько, как держатся, у кого оружие и где.

Серые куртки, длинные, ниже колен, из какой-то гладкой материи, которая не мокнет. Серые штаны, высокие ботинки на толстой подошве. Капюшоны откинуты. На левом плече у каждого нашивка: серый щит, на нём белый журавль, под ним буквы и цифры. У всех короткие автоматы на ремнях, у некоторых ещё что-то на поясе — чёрные цилиндры, о которых я ничего не знала. Лица у всех чистые. Ни одной строчки. И на шеях, на руках, на висках, там, где видна кожа, тоже ничего. Люди из Купола не пишут себя. Им не нужно.

Зато у каждого на правом виске под кожей поблёскивал

маленький металлический кружок размером с ноготь. Как монетка, вросшая в голову.

«Запись». Так их называют.

Впереди шёл высокий мужчина лет тридцати пяти, с тяжёлой квадратной челюстью и бритой головой. Глаза у него были светлые, очень светлые, почти белые, как у старой собаки, и смотрел он ими так, будто прикидывал, сколько каждый из нас стоит. На его нашивке под журавлём было три белые полосы.

Он остановился перед старостой Ерёминым, и Ерёмин, огромный, бородатый Ерёмин, который один поднимает лодку, снял шапку и поклонился.

— Посёлок Подкаменка, — сказал бритый. Голос у него был негромкий, но слышно было каждое слово. — Старший сборщик Кирилл Шмаков. Борт «Стерх-2», Ангарское направление. Прибыли за десятиной согласно Уложению о Беспамятных территориях. Книги готовы?

— Готовы, — сказал Ерёмин.

— Пушнина?

— Готова.

— Список детей без записей?

Ерёмин помолчал.

— Нету таких, — сказал он. — Все записаны.

— Посмотрим, — сказал Шмаков.

* * *

Дальше было как каждый год. Я видела это шестнадцать

раз — с тех пор, как себя помню. Все остальные в посёлке видели это один раз — в прошлом году. Каждый год для них первый.

Двое Сборщиков ушли в Книжную избу и вынесли оттуда Книги. Все двенадцать. Сложили их на расстеленный брезент. Один сел и стал листать — быстро, внимательно, по-деловому. Не читал, как читает Устинья, водя пальцем, а будто фотографировал глазами страницу за страницей. Иногда останавливался, наводил на страницу маленькую чёрную коробочку, та щёлкала. Устинья стояла рядом и смотрела на это с таким лицом, будто в её доме чужие люди перебирают её бельё.

Другие считали шкурки. Соболь, белка, горностай, лиса. Рыбу. Золотой песок, который наши намыли за лето на Тасеевском ручье, — его взвесили на маленьких весах. Записывали. Что-то тыкали пальцами в светящиеся плоские дощечки. Планшеты. Я знала это слово. Мама рассказывала.

А потом Шмаков сказал:

— Детей до четырнадцати лет — вперёд. По одному. С родителями.

И из задних рядов опять заплакала женщина, и опять её одёрнули.

Детей построили в ряд. Их было тридцать семь. Сёма стоял между двойняшками Кутузовых и Нюркой Брусницыной, и я стояла у него за спиной, положив руку ему на плечо. Его плечо мелко дрожало под моей ладонью.

Вдоль ряда пошёл человек в такой же серой куртке, как остальные, но с другой нашивкой — с красным крестом под журавлём. Медик. В руке у него была штука, похожая на толстую чёрную ручку с маленьким окошком. Он подходил к каждому ребёнку, читал его руки, потом прижимал эту ручку к шее под ухом, и она тихонько пищала, а в окошке загорались цифры. Медик смотрел на цифры и называл их вслух, а второй Сборщик, который шёл за ним, записывал в планшет.

— Кутузов Андрей, девять лет. Записи есть. Норма.

— Кутузов Илья, девять лет. Записи есть. Норма.

Медик встал перед Сёмой. Он был немолодой, с усталым лицом в мелких морщинах, с мешками под глазами. Он взял Сёмину руку, перевернул, прочитал.

— Ковалёв Семён. — Посмотрел на меня. — Сестра?

— Да.

— Родители?

— Мама ушла. Три года назад.

— Пустая?

— Да.

Медик кивнул без всякого выражения и прижал ручку к Сёминой шее. Она запищала.

Потом пищать перестала, а медик всё смотрел в окошко.

Потом он снова прижал её к шее. Подержал подольше.

Потом поднял голову и сказал — не мне, а тому, кто записывал, — коротко и буднично:

— Порок. Межпредсердный, по всей видимости. Сатурация девяносто один. Он кашляет?

Последнее уже мне.

— Кашляет, — сказала я. У меня вдруг пересохло во рту. — Немножко.

— Немножко, — повторил медик без всякого выражения. — Ну, это ненадолго.

И кивнул тому, что записывал:

— В медицинский список.

* * *

Я думала об этом потом много раз — как я могла бы поступить. Что могла сделать. Выхватить Сёму и побежать к лесу? До изгороди тридцать шагов, и у каждого Сборщика автомат. Закричать? Кинуться на медика? Попросить?

Я попросила.

— Подождите, — сказала я. Я даже не узнала свой голос. — Подождите, пожалуйста. У него есть записи. Он записан. Он не сирота. У него есть я.

— Медицинский список, — сказал медик, уже глядя на следующего ребёнка, на Нюрку Брусницыну, — не про записи. Это ради его же блага, девушка. У вас здесь его лечить нечем. Сколько, по-вашему, он проживёт?

— Пахомыч сказал — год. Может, два.

— Ваш Пахомыч оптимист, — сказал медик. — В Куполе ему сделают операцию.

— А потом? — спросила я. — Потом вернут?

Медик на секунду замолчал. Потом сказал, не глядя на меня:

— Потом он будет жить. Разве не это главное?

И пошёл дальше вдоль ряда.

Ко мне подошли двое Сборщиков. Один взял Сёму за плечо, легко, почти ласково. Сёма поднял на меня глаза. В них не было страха. Было удивление и что-то вроде вопроса.

— Вета? — сказал он.

— Не бойся, — сказала я. — Не бойся, Сёмка. Тебя будут лечить. Тебе зашьют сердце.

Я шагнула за ним, и мне в грудь упёрлась ладонь в серой перчатке. Твёрдо, как бревно.

— Стоять, — сказал Сборщик. Молодой, с курносым веснушчатым лицом. Ему было, наверное, лет двадцать.

Я посмотрела на его руку у себя на груди. Потом на его лицо. Я прикидывала. Я прикидывала совершенно спокойно и холодно, как прикидываю расстояние до глухаря: нож у меня за голенищем, и, если я выхвачу его, курносый успеет только моргнуть. А потом в меня выстрелят четверо других. А потом Сёма останется на «Стерхе» один. Без меня. Навсегда.

Сзади меня кто-то схватил за плечи. Сильно, с двух сторон. Я рванулась.

— Ветка, — сказала Устинья мне в ухо. — Ветка. Не надо. Не сейчас.

Откуда она так быстро успела? Она же стояла у Книг.

Двое держали меня: Устинья и Пахомыч. Устинья, ма-

ленькая, сухая, вцепилась так, что я чувствовала её пальцы сквозь куртку. Я могла бы вырваться. Я сильнее их обоих. Но я не вырывалась. Я стояла и смотрела, как Сёму ведут к трапу.

На полпути он обернулся. Посмотрел на меня через головы. Потом повернулся к Сборщику, который его вёл, и что-то спросил.

Я не слышала, что. Но я видела, как шевелились его губы, и я умею читать по губам — мама учила, ещё давно, на случай, если придётся молчать.

«А она мне кто?»

Сборщик посмотрел на Сёмину руку и ответил. Сёма кивнул, будто что-то понял. И пошёл дальше.

* * *

Медицинский список в тот год был из троих: Сёма, Петька Зуев, у которого с весны гнила нога, и годовалая Варя Сенькиных, у которой были судороги. В список детей без записей не попал никто. Ерёмин не соврал. Устинья всех записала.

Но, если честно, я этого уже почти не видела. Я стояла на пустыре как деревянная, Устинья всё ещё держала меня за рукав, а я смотрела на «Стерх». На трап. На то место у трапа, где Сёму передали из рук в руки другому Сборщику, который стоял там с планшетом и отмечал прибывших.

Тот, второй, стоял к нам вполоборота. Высокий. Капюшон откинут. Тёмные волосы, коротко стриженные. Худое лицо с резкими скулами. Над левой бровью — шрам, неровный,

бледный, будто кто-то зашивал рану толстой ниткой, неумело и наспех.

Кто-то и зашивал. Я.

Он поднял голову от планшета и окинул взглядом пустырь, толпу, Книжную избу, весь посёлок — быстро, профессионально, как Сборщик, который прикидывает, кто из этой толпы может доставить неприятности. Его взгляд прошёл по мне. Не остановился. Не зацепился. Скользнул и ушёл дальше.

Как по пню. Как по забору. Как по незнакомке.

* * *

Его звали Яр. Это я знала, потому что сама прочитала ему его имя.

Два года назад, в ноябре, я нашла его в Лосином ключе, в том самом распадке, где позавчера подстрелила глухаря. Он лежал лицом в ручье, и вода вокруг его головы была розовой. Куртка серая, разорванная на плече. Из спины чуть ниже лопатки торчал обломок костяного наконечника — такими бьют Пустые. Они ничего не помнят, но руки у них помнят, как делать гарпуны. Я его вытащила. Он был без сознания. Он был тяжёлый, раза в два тяжелее меня, и я тащила его волоком на лапнике до старого зимовья на Тасеевском ручье четыре часа. Стерх в тот год уже ушёл. Его бросили. Подумали, наверное, что он мёртв.

Над бровью у него была рана до кости, и я зашивала её суровой ниткой из Устиньиной корзины, при лучине, а он

стонал и пытался меня оттолкнуть. На плече его куртки была нашивка — серый щит, журавль и буквы: «ВОЛЫНСКИЙ Я. А-17». Я сорвала её и спрятала. Куртку сожгла.

Через три дня выпал снег.

Когда он очнулся, он не помнил ничего. Совсем ничего — ни года, ни двух, ни всей жизни. Иней не всегда забирает только год. Иногда — всё. Но Пустым он не стал. Он говорил. Он понимал. Он просто был пустым внутри, как новая береста, и смотрел на меня с соломенного тюфяка в зимовье огромными тёмными глазами и спрашивал: «Кто я?»

Я сказала: «Тебя зовут Яр». Это было единственное, что я про него знала.

Он прожил у нас всю ту зиму. Сначала в зимовье, потом, когда начались морозы, я привела его в посёлок и сказала, что нашла его в лесу, что он пришлый, без памяти, без записей. Такое бывает: иногда кто-то выходит из тайги — уцелевший с какой-нибудь заимки, где все провалились. Его приняли. Ерёмин дал ему работу. Устинья записала его в Книгу.

И вот это — то, что она записала, — я потом вырезала. Потому что она записала всё честно, как пишет всегда: «Яр, пришлый. Нашла Вета Ковалёва в Лосином ключе. Был ранен. Куртка серая, со знаком». Сборщики читают Книги. Если бы они прочли, что посёлок всю зиму прятал их человека, — не знаю, что бы они сделали. Я не хотела узнавать.

Его забрали в апреле. Прилетела вертушка — та самая маленькая, с кормы «Стерха», только «Стерха» не было, она

прилетела одна, откуда-то с юга. Они знали, где его искать. У него в виске была «запись», и, как потом сказал Пахомыч, она, наверное, всю зиму звала своих, только сигнал не доходил, пока не сошёл снег. Они сели на пустыре — на этом самом пустыре, — и из вертушки вышли трое и ещё один, седой, в длинном чёрном пальто, не в сером. Седой посмотрел на Яра. Яр посмотрел на седого. Седой сказал: «Ярослав». Яр не узнал его. Седой сказал: «Ничего. Это поправимо».

Они его увели. Он не сопротивлялся — он вообще ничего не понимал. Только у самой вертушки обернулся и нашёл меня глазами в толпе. И держал этот взгляд, пока за ним не закрылась дверь.

Через полгода выпал снег, и вся Подкаменка забыла, что жил у нас такой человек.

Кроме меня.

И вот он стоит у трапа «Стерха» с планшетом в руке, с моим шрамом над бровью, и смотрит сквозь меня.

Он не забыл меня от инея. В Куполе не забывают. Купол — это место, где ничего не забывают.

Ему просто это стёрли. Седой сказал: «Это поправимо». И поправил.

* * *

— Ветка, — сказала Устинья. — Ветка, ты белая вся. Сядь.

Я не села.

Потому что Шмаков в эту минуту поднялся на перевёрну-

тый ящик посреди пустыря, и все, кто ещё перешёптывался, замолчали.

— Жители Подкаменки, — сказал Шмаков. — Слушать внимательно. Повторять не буду. Обращение Совета Летописи ко всем Беспамятным территориям.

Он достал из-за пазухи не планшет, а лист бумаги. Настоящей, белой, плотной бумаги — я такую видела раза три в жизни, — и стал читать, ровно, без всякого выражения, как читают Уложение.

— «Державы Тёплых Городов граждане и жители Беспамятных территорий. В знак заботы Государя Памяти о народе и в ознаменование сорокового года Великой Оттепели Совет Летописи объявляет Перегон».

По толпе прокатился звук — не слово, а будто все разом выдохнули.

Я знала, что такое Перегон. Мама рассказывала. Перегон устраивают не каждый год, а раз в несколько лет, в какие-то особенные годы, и в последний раз это было, когда мне было семь. Из Подкаменки тогда послали Гришу Сенькина. Он не вернулся. Никто не возвращается. Но и это не новость: из Купола не возвращаются вообще.

— «От каждого посёлка, — читал Шмаков, — выставляется один участник в возрасте от шестнадцати до девятнадцати полных лет, здоровый телом и духом. Участники собираются в Красноярске и проходят путь до ворот Новосибирского Купола своими силами, вдоль старой Транссибирской

магистрали. Срок прохождения — до первого снега. Участник, достигший ворот прежде первого снега, получает полное гражданство Державы, право жить в Тёплом городе, запись и защиту от инея. Право это распространяется также на одного родственника участника по его выбору, где бы тот ни находился».

Он опустил лист.

— Где бы тот ни находился, — повторил он, будто это было главное. Может быть, это и было главное. — Участника посёлок выбирает сам. Сегодня до заката. Утром «Стерх» уходит, участник уходит с ним. Если участника не будет, Подкаменка платит двойную десятину в этот год и в следующий. Вопросы?

Вопросов не было. Двойная десятина — это голодная зима. Это значит, что умрут старики и половина младенцев.

Шмаков сошёл с ящика и пошёл к трапу. А я стояла и смотрела ему вслед, и в голове у меня крутились слова, как камушки в глухарином зобу, перетирая всё остальное:

Где бы тот ни находился.

Одного родственника по его выбору.

До первого снега.

Я подняла голову и посмотрела на северо-запад, за реку, за сопки. Там, над Тунгусским кряжем, висела длинная серая полоса. Вчера вечером она была лиловой. Сегодня она стала шире.

Шестьсот километров. Может быть, две недели. Может

быть, меньше.

Я опустила глаза и посмотрела на «Стерх». Там, у трапа, Ярослав Волынский, сборщик с номером А-17, закрыл свой планшет, повернулся и пошёл по трапу на борт, не оглядываясь.

В этот раз он не обернулся.

— Устинья, — сказала я. — Отпусти меня.

Она, оказывается, всё ещё держала меня за рукав. Она посмотрела мне в лицо. Не знаю, что она там увидела, но пальцы её медленно разжались.

— Ох, Ветка, — сказала она тихо. — Ох, девочка.

Она поняла. Она всегда всё понимает. Даже то, чего не помнит.

Глава 3. Третья строчка

Сход собрался у Ерёмина, когда солнце коснулось сопок на том берегу.

Изба у старосты самая большая в посёлке, с горницей, где стоит длинный стол на двадцать человек. За столом сидели те, кому положено решать: сам Ерёмин, его жена Матрёна, Устинья, Пахомыч, дядя Фёдор Брусницын, Сенька Кутузов, ещё пятеро старших. А вдоль стен, на лавках и прямо на полу, сидели и стояли все остальные — кто поместился. Пахло мокрой шерстью, табаком и страхом. Печь не топили, но всё равно было душно.

Я стояла у двери. Меня никто не звал. Мне семнадцать, и голоса на сходе у меня нет.

— Значит, так, — сказал Ерёмин и положил на стол свои огромные ладони. Они у него как лопаты, исписанные синими буквами до самых ногтей. — Кого посылать, решаем сейчас. Двойную десятину нам не потянуть. Это все понимают?

Все понимали.

— Шестнадцать — девятнадцать, — сказал Ерёмин. — Таких у нас одиннадцать душ. Я их всех в уме перебрал. Мой Митька в том числе. — Он помолчал. — И я вам так скажу. Это не Перегон. Это, прости господи, смерть с бантиком. Гришу Сенькина помните?

Никто не помнил. Это было десять лет назад, десять сне-

гов. Но Устинья, не дожидаясь, открыла Книгу, которую принесла с собой, и прочла: «Сенькин Григорий, 18 лет, ушёл на Перегон со Стерхом 23 октября. Не вернулся. Вестей нет». Больше там ничего не было.

— Вот, — сказал Ерёмин. — И вестей нет. И не будет. Кто бы ни пошёл — для посёлка он, считай, помер. Значит, решать надо по совести. Кого не жалко — грех так говорить, но я скажу. Кого не жалко.

В горнице стало совсем тихо.

— Пашка Зуев, — сказал Сенька Кутузов.

Головы повернулись к печи. Пашка Зуев сидел там на корточках, прислонившись к холодному боку печи, — длинный, тощий, с давно не стриженными сальными волосами и с синяком под глазом. Ему девятнадцать. Он ворует. Он ворует с тех пор, как я себя помню, — у всех, по мелочи: сети, соль, рыбу из коптильни, а в прошлом году вскрыл чужой погреб и выпил полбочонка браги. Ему каждую зиму пишут на руку «Не воровать», и каждую весну он читает это, ухмыляется и опять ворует. У него нет отца, а мать спилась и провалилась два года назад. Из родных у Пашки только младший брат Петька. Тот самый Петька, у которого гнила нога и которого сегодня утром увели на «Стерх» вместе с Сёмой.

Пашка поднял голову. Я думала, он будет орать. Он не орал.

— Я пойду, — сказал он хрипло.

Все переглянулись.

— Я сам хотел, — сказал Пашка. — Петька там. Я пойду. Дойду и заберу его. Одного родственника, так?

— Так, — сказал Ерёмин медленно. Он, кажется, не ожидал. — Ну. Ну что ж. Раз сам...

— Нет, — сказала я.

Все головы повернулись ко мне. Я отлепилась от двери и шагнула вперёд. Ноги были ватные, но голос, к счастью, не дрожал.

— Ковалёва, — сказал Ерёмин. — Тебя не спрашивали.

— Знаю. Я всё равно скажу. Пашка не дойдёт.

— Это ещё почему? — Пашка вскочил. Лицо у него пошло красными пятнами.

Я повернулась к нему. Мне было его жалко, правда. Мне было жалко его так, что щипало в носу. Но жалость — это не то, что спасает. Спасает расчёт. Этому меня тоже научила мама.

— Потому что ты в лесу ничего не умеешь, — сказала я. — Ты дальше Кривой сопки не ходил ни разу. Ты не можешь развести огонь под дождём. Ты не знаешь, как идёт по следу росомаха и что делать, если увидишь Пустых. Ты не умеешь стрелять. Ты в прошлом году заблудился в Лосином ключе, и тебя искали два дня.

— Он этого не помнит, — сказал кто-то.

— В Книге это есть, — сказала Устинья, не поднимая головы.

Пашка смотрел на меня, и у него дрожали губы.

— А ты, значит, умеешь, — сказал он.

— Я умею, — сказала я. — Я лучше всех в посёлке хожу по тайге. Это все знают. Спросите Ерёмина, кто приносит больше всех мяса. Спросите, кто нашёл в позапрошлом году Брусницынского телка, когда его утащил медведь. Кто ходит один до Тасеевского ручья и обратно за два дня. Если кто-то из Подкаменки может дойти до Купола — это я.

— У тебя тоже брата забрали, — сказал Пашка с ненавистью. — Ты за этим. Ты за своим. А я за своим, значит, не могу?

— Можешь, — сказала я. — Но не дойдёшь. И не будет ни моего, ни твоего.

Мы стояли посреди горницы друг против друга. Все молчали.

— Пашенька, — сказала вдруг Матрёна Ерёмина. Тихо, по-матерински. — Сядь, сынок.

И Пашка вдруг сел. Прямо на пол, где стоял. И закрыл лицо руками.

* * *

Голосовали по-старому — камешками. Белый камешек — за меня, чёрный — за Пашку. Мешок пошёл по кругу, от Ерёмина к Матрёне, от Матрёны к Устинье и дальше. Я не смотрела. Я стояла у двери, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони.

Белых было девять. Чёрных — два.

— Ковалёва Вета, — сказал Ерёмин тяжело. И посмот-

рел на меня из-под бровей. — Ты, девка, понимаешь, на что идёшь?

— Понимаю.

— Ни хрена ты не понимаешь, — сказал Ерёмин. Но не зло, а устало. — Ладно. Иди, собирайся. Утром на «Стерх». Матрёна, дай ей что надо в дорогу. Соль, сухари. Порох.

— Пороха у нас нет, — сказала Матрёна.

— Найди, — сказал Ерёмин.

* * *

Порох нашёлся. Шесть патронов к обрезу — из тайника самого Ерёмина, о котором, наверное, не знала даже Матрёна. Кроме этого мне дали: мешочек соли, мешок сухарей, вяленую рыбу, кусок сала, завёрнутый в тряпицу, огниво, жестяную кружку, моток лески с крючками, два одеяла из заячьих шкурок и Брусницынские непромокаемые бахилы, которые были велики мне на три размера. Митька Ерёмин принёс свой нож — хороший, с наборной рукоятью из бересты и лосиного рога, и сунул мне в руки, не глядя.

— Чтоб вернула, — сказал он и ушёл раньше, чем я успела ответить.

Я никому ничего не сказала о том, что никто оттуда не возвращается. Они и так знали.

Всё это я сложила в старый мамин рюкзак — брезентовый, линялый, с кожаными заплатами, который она привезла когда-то из Кодинска. Сверху приторочила одеяла, лук и колчан. Обрез — в чехол на бедро.

Потом я села на пол посреди пустой, тёмной избы и посидела немного, ни о чём не думая. На стене у печки висела Сёмина доска с рисунком. Река, наши мостки, «Стерх». Я сняла её, посмотрела ещё раз и повесила обратно.

Потом встала, надела куртку и пошла в лес.

* * *

До зимовья на Тасеевском ручье в темноте я дошла за полтора часа. Я знаю эту тропу наизусть — каждый корень, каждую яму. Ночь была ясная, холодная, с крупными звёздами, но на северо-западе звёзд не было — там их закрывала та самая полоса. Она шла поверх кряжа, как стена, ровная, тёмная. Сегодня она стала ещё ближе.

Зимовье стояло в ельнике на склоне, маленькое, полуземляное, крытое дёрном, с одной крохотной дверцей, в которую надо пролезать согнувшись. Внутри пахло мышами и старым дымом. Я зажгла огарок свечи, который взяла с собой, и посветила вокруг. Нары. Каменка в углу. Тюфяк из сена — тот самый.

На этом тюфяке он лежал два года назад с зашитой бровью и обломком гарпуна в спине, который я вырезала его же собственным ножом, пока он кричал. Здесь он открыл глаза и спросил: «Кто я?» Здесь мы просидели всю ту зиму, вечер за вечером, — сначала потому, что ему нельзя было двигаться, а потом потому, что мне не хотелось уходить. Здесь я учила его плести силки и разделывать зайца. А он учил меня...

Неважно, чему он меня учил.

Я встала на колени у каменки, вынула из основания нижний камень и сунула руку в тёмную щель между камнями и стеной.

Они были на месте. Завёрнутые в промасленную тряпку: лист бересты, свёрнутый трубочкой, и серая нашивка с белым журавлём.

Я развернула бересту и поднесла к свече. Устиньин острый почерк, похожий на следы птичьих лапок:

«Яр, пришлый. Нашла Вета Ковалёва в Лосином ключе, 3 нояб. Был ранен. Куртка серая, со знаком. Памяти нет совсем. Работает у Ерёмина. Тихий. Ходит с Ветой. — 15 дек.

Яр с Ветой на Ангаре смотрели ледоход. Ветка счастливая. — 19 апр.

Яра забрали. Вертушка. Седой в чёрном. Звали Ярославом. Ветка не плачет. Не к добру. — 27 апр.»

Это было всё. Три записи.

Последнюю я перечитала дважды. «Ветка не плачет. Не к добру». Устинья тогда, конечно, видела меня насквозь. Как всегда.

Я свернула бересту обратно, завернула вместе с нашивкой в тряпку и спрятала за пазуху. Ещё до рассвета, вернувшись домой, я распорола подкладку маминого рюкзака и зашила туда свёрток. Мелкими стежками, суровой ниткой.

Я сама не знала, зачем. Наверное, затем, что там, куда я шла, это было единственное доказательство того, что я ничего не придумала.

* * *

Когда я вернулась в посёлок, у моей двери на крыльце сидела Устинья.

Она сидела в темноте, закутанная в свои два платка, и курила трубку, которую не курила, по-моему, лет десять. Огонёк трубки то разгорался, то гас.

— Где была? — спросила она.

— В лесу.

— Ага. — Устинья вынула трубку изо рта. — Пошли. Руки покажешь.

— Зачем?

— Затем, что у тебя руки чистые, а ты едешь туда, где все будут их читать, — сказала Устинья. — Думаешь, в Красноярске на вас не посмотрят? Ещё как посмотрят. Девка из Беспамятья с двумя строчками, как у пятилетней, — это странно. Странное запоминают. А тебе, как я понимаю, лишний раз запоминаться не надо.

Я молчала.

— Не бойся, — сказала Устинья. — Я ничего не знаю. И знать не хочу. Я старая, Ветка, я могу провалиться в любую зиму, и, когда старики проваливаются, они иногда болтают всякое. Ничего мне не говори. Просто пошли.

* * *

В Книжной избе было холодно, как всегда. Устинья зажгла лучину, усадила меня к столу, засучила мне левый рукав до локтя и долго разглядывала мамину строчку. «Ты Ве-

та». Буквы уже поплыли, стали голубыми и чуть расплывчатыми, — им одиннадцать лет. Рядом с ними мне всегда казалось, что мамин почерк похож на её голос: мягкий, с наклоном вперёд, будто она торопилась.

— Хорошо писала Анна, — сказала Устинья. — Ровно.

Она достала из своей корзины иглы, нитку, плошку с сажей на кедровом масле. Обмакнула иглу.

— Что писать? — спросила она.

Я думала об этом всю дорогу из зимовья. Что пишут себе перед Перегоном? Где искать воду. Как отличить следы Пустых. Кому верить. Никому, наверное. Мне не нужно было ничего из этого, я и так всё помнила. Но Устинья была права: руки должны выглядеть как руки.

— Напиши, что сама хочешь, — сказала я.

Устинья посмотрела на меня. Потом склонилась и стала колоть. Чуть ниже маминой строчки, на внутренней стороне предплечья, где кожа тоньше и больнее.

Больно было ужасно. Я не дёргалась. Я смотрела в тёмное окно и считала до ста, потом ещё раз до ста. Устинья колола быстро и точно — сорок лет практики, — то и дело вытирала кровь и сажу тряпочкой и колола дальше. Из-под иглы выходили буквы, одна за другой, острые, птичьи.

Когда она закончила, я посмотрела.

Одно слово. Большими буквами, крупнее маминых.

«ДОЙДИ».

Я долго смотрела на него. Потом подняла глаза на Усти-

нью.

— Это ведь не для того, чтобы вспомнить, — сказала я.

— Нет, — согласилась Устинья. — Это чтобы, когда будет совсем худо, ты посмотрела. И вспомнила, что старая дура Устинья в тебя верила.

Она обмотала мне руку чистой тряпицей, завязала узлом. Потом взяла моё лицо в свои сухие маленькие ладони — точно так, как когда-то брала мама, — и сказала, глядя мне в глаза:

— А теперь слушай. Это не на руку, это в голову. Не верь серым. Ни одному. Даже если покажется, что можно. Особенно если покажется.

Я молчала.

— И ещё, — сказала Устинья. — Если найдёшь там Петьку Зуева — скажи ему, кто он. Пашка всю ночь у меня под окном просидел. Просил передать.

* * *

«Стерх» дал гудок на рассвете.

Меня провожал весь посёлок. Это было странно: в обычные дни меня мало кто замечал. А тут стояли все, вдоль всей тропы от Книжной избы до мостков, и молчали. Кто-то трогал меня за плечо, когда я проходила. Тётка Груня Брусницына сунула мне в карман горсть кедровых орехов. Пахомыч — маленький флакончик тёмного стекла: «Это спирт. Для ран, не для пьянки. Поняла?» Митька Ерёмин стоял у мостков, красный, и смотрел в сторону.

Пашки Зуева нигде не было.

Сборщики стояли у трапа двумя рядами. Шмаков — наверху, у поручня, сунув руки в карманы. Он смотрел на меня сверху вниз своими белыми глазами, как смотрят на скотину, которую ведут на борт.

А у самого трапа, с планшетом в руке, стоял Яр.

Я шла к нему по мосткам и всё время думала: смотри. Смотри так, как смотришь в ночь Пересказа. Как на незнакомого. Ты его не знаешь. Ты его никогда не видела. Он для тебя Сборщик, ещё один серый, ещё одна нашивка. Ты деревенская девка, которая пятнадцать снегов не помнит, что было в прошлом году.

Я остановилась перед ним.

Вблизи он оказался выше, чем я помнила. Или я забыла, какой он высокий. Нет, я не забываю. Просто тогда он всё время лежал, или сидел, или сутулился у печки, а сейчас стоял прямо, по-военному, и я едва доставала ему до подбородка. Лицо у него стало жёстче. Скулы острее. Губы плотно сжаты. Чистая кожа без единой строчки. И в правом виске — металлический кружок «записи», которого два года назад не было. Тогда на этом месте был свежий розовый шрам. Видимо, старую «запись» иней сжёг, и ему поставили новую.

Шрам над бровью — мой — был на месте.

— Имя, — сказал он, не поднимая глаз от планшета.

Голос был тот же самый. Вот этого я не ожидала. Я думала, что готова ко всему, а к голосу оказалась не готова. Низкий,

чуть хрипловатый, с привычкой растягивать гласные. Тот же. Это было как удар под дых.

— Ковалёва, — сказала я. — Вета.

— Возраст.

— Семнадцать.

— Посёлок Подкаменка, — сказал он сам себе, тыча пальцем в планшет. — Руки.

Я протянула ему обе руки ладонями вверх, как положено. Он взял моё правое запястье — пальцы у него были холодные, в перчатке без пальцев, — повернул к свету и прочёл:

— «Береги Сёму». Кто такой Сёма?

— Брат. Вы его вчера забрали. В медицинский список.

Он поднял глаза. Первый раз посмотрел мне в лицо.

Глаза у него были тёмные, почти чёрные, как Ангара осенью. Я смотрела в них, а он смотрел в меня — секунду, две. Я считала. На третьей секунде у него едва заметно дрогнули брови, и между ними легла складка, будто он что-то искал и не мог найти. Как человек, который вошёл в комнату и забыл, зачем пришёл.

На четвёртой секунде складка исчезла.

— Значит, будете беречь, — сказал он ровно и отпустил мою руку. Взял левую. Прочёл: «Ты Вета». Потом увидел тряпицу ниже, отогнул её край. Кожа под ней вздулась, покраснела, буквы проступали сквозь сукровицу.

— Свежая.

— Вчера.

— «Дойди», — прочёл он. Помолчал. — Хорошее слово.

Он отпустил мою руку, что-то отметил в планшете и мотнул головой в сторону трапа:

— Проходите. Каюта номер шесть, нижняя палуба. Вас проводят.

Я прошла мимо него и поднялась по трапу. Я не обернулась. Ни разу. Мне хотелось обернуться так, что болели глаза, но я не обернулась. Вот и всё, о чём я могла думать, пока шла по гулкой железной палубе вслед за курносым веснушчатым Сборщиком, тем самым, который вчера упирался мне ладонью в грудь: я не обернулась. Я молодец. Я справилась.

Только у самого люка, ведущего вниз, я позволила себе посмотреть на берег. На Подкаменку. На дым над крышами, на изгородь, на тёмную полосу леса за ней.

У изгороди, на отшибе от всех, стоял Пашка Зуев. Он стоял, обхватив себя руками, и смотрел на «Стерх». Не на меня. На «Стерх». Туда, где был его брат.

Я подняла руку. Пашка не ответил.

* * *

Каюта номер шесть оказалась железным ящиком шага на три в длину и на два в ширину. Металлическая койка, привинченная к стене. Ведро в углу. Над койкой — иллюминатор, круглый, мутный, с толстым стеклом и наваренной снаружи решёткой. Дверь тоже железная, с окошком-заслонкой. Когда она за мной закрылась, в замке дважды повернулся ключ.

Я села на койку и долго сидела не двигаясь. Под ногами гудело и вздрагивало: «Стерх» запускал машины. Потом пол чуть накренился, и в иллюминаторе медленно поплыл берег. Наши мостки. Наши лодки. Высокий обрыв с изгородью. Крыши. Дым.

Потом всё это ушло за край иллюминатора. Осталась только река и тот берег — тёмный, лесистый, бесконечный.

Я отвернулась.

И тогда услышала за стеной кашель.

Сухой, мелкий, рвущийся. Я узнала бы его из тысячи. За железной переборкой, в соседней каюте, в полуметре от меня, кашлял Сёма.

Я прижалась к переборке щекой. Металл был холодный и мелко дрожал от машин. Кашель прекратился. Я слышала — или мне казалось, что слышу, — его дыхание. Неровное. С присвистом.

Я подняла руку и постучала костяшками пальцев. Тук. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук.

Это наша старая игра. Из До — из того времени, которого он не помнит. Когда он был совсем маленький и боялся засыпать один, я ложилась на лавку у другой стены и стучала ему так. А он отвечал. Всегда одинаково: тот же ритм, задом наперёд. Тук-тук-тук. Тук. Тук-тук. Тук. Это значило: «Я здесь». Он придумал это сам, в четыре года. Потом он стучал так каждую ночь, пока ему не исполнилось восемь.

А потом выпал снег, и больше он не стучал. Я пробовала

прошлой зимой несколько раз. Он не понимал. Он спрашивал: «Это что, Вета?»

За переборкой было тихо. Только машины гудели.

Я закрыла глаза. Глупо, конечно. Глупо было и пробовать.

Тук-тук-тук. Тук. Тук-тук. Тук.

Я открыла глаза.

Тихо, неуверенно, будто рука сама — не голова, а рука — вспомнила то, что голова давно забыла.

Я сидела, прижавшись лбом к холодному железу, и ревела — беззвучно, по-настоящему, впервые за три года, — пока за стеной снова не закашляли.

* * *

Потом, уже в сумерках, когда «Стерх» шёл вниз по реке и в иллюминаторе плыли тёмные сопки, за моей дверью остановились шаги. Двое.

— ...Шестая — Подкаменка, — сказал голос, который я знала лучше всех голосов на свете. — Ковалёва. Охотница. Лук, обрез, нож. Пашка Зуев, которого они первым называли, — пустышка, а эта — из лучших, что мы видели на Ангаре. Ставлю на неё.

— Ставь, — сказал второй голос, и я узнала Шмакова. Ленивый, негромкий. — Мне-то что.

Пауза.

— Странная она, — сказал Яр.

— Чем?

— Не знаю. — Он помолчал. — Смотрит так, будто мы

знакомы.

Шмаков засмеялся — коротко, без веселья.

— Они все так смотрят, А-семнадцатый. На тебя бабы всю жизнь так смотрят. Пошли, ужин стынет.

Шаги удалились.

Я сидела в темноте, обхватив колени, и смотрела на свою левую руку. Под тряпицей пульсировало и жгло свежее слово.

«Дойди».

Глава 4. Вниз по Ангаре

Утром мне принесли кашу.

Её принёс не курносый и не Шмаков. Я услышала, как в замке повернулся ключ, как открылась железная дверь, и подняла голову с койки — и увидела Яра. Он стоял в проёме с миской в одной руке и жестяной кружкой в другой, и вид у него был такой, будто это поручение ему очень не нравится.

— Завтрак, — сказал он и поставил миску на пол у порога. Рядом кружку. — Ведро вынесут в полдень. Прогулка на палубе — час, после обеда. Вопросы?

Я села на койке.

— Где мой брат?

— В седьмой каюте. Рядом.

— Я знаю, что рядом. Я его слышу. Можно мне к нему?

— Нет.

— Почему?

— Потому что медицинский список и участники Перегона содержатся раздельно, — сказал он ровно, как будто читал. — Таков порядок.

— А что будет с ним дальше?

Он помолчал. Потом, вместо того чтобы уйти, прислонился плечом к дверному косяку. Я заметила это: он мог бы уйти. Он остался.

— На Стрелке, в Лесосибирском порту, медицинский

список пересаживают на поезд, — сказал он. — Бронепоезд «Енисей». Через двое суток он будет в Новосибирске. Вашего брата прооперируют в Центральном госпитале. Там хорошие хирурги, лучшие в Державе.

— А потом?

— Потом он поправится.

— А потом? — повторила я.

Он посмотрел на меня. Опять эта складка между бровей — едва заметная, на секунду.

— Вы всегда задаёте один вопрос три раза?

— Только когда мне не отвечают.

Уголок его рта дёрнулся. Не улыбка. Тень улыбки. Я её знала. Два года назад, в зимовье, он так улыбался, когда я в первый раз показала ему, как обдирать белку, и он порезал себе палец и сделал вид, что совсем не больно.

— Дальше его определят, — сказал он. — Если родственников в Куполе нет — в детский интернат. Потом — на работу, по способностям.

— Зимником.

— Это называется «трудовой резерв».

— А память ему сотрут?

— Ему девять, — сказал Яр. — После прошлого снега у него, судя по записи медика, почти ничего не осталось. Стирать особенно нечего.

Он сказал это без злости. Даже как будто бы мягко. Как говорят о погоде. И я поняла, что он действительно так ду-

мает. Что для него это правда: стирать нечего. Мальчик без памяти — чистый лист. Что с него взять?

Я смотрела на него. Он смотрел на меня.

— Почему вы на меня так смотрите? — спросил он вдруг.

Сердце у меня ухнуло вниз, как ведро в колодец. Но я ведь тренировалась. Перед зеркалом. Годами.

— Как?

— Как будто считаете что-то.

— Я никогда не видела человека без строчек так близко, — сказала я. — В посёлке все исписанные. А у вас ничего. Странно. Как будто вы голый.

Он моргнул. Потом опять дёрнулся уголок рта.

— Нам не нужно писать. Мы помним.

— Всё?

— Всё.

— Откуда тогда шрам? — спросила я и кивнула на его бровь.

Я не собиралась спрашивать. Само вырвалось. Я тут же пожалела, но было поздно.

Он машинально поднял руку и коснулся шрама кончиками пальцев. Я заметила: жест был привычный. Он делал это часто, сам того не замечая.

— Пустые, — сказал он. — Два года назад, на Ангаре, недалеко от ваших мест. Рейд. Отряд попал в засаду. Меня ранили, и я несколько суток пролежал в тайге, пока свои не нашли. Потом всю зиму — в госпитале в Куполе.

Он сказал это легко и спокойно. Как правду. Как то, что он помнит.

Всю зиму — в госпитале.

У меня в ушах зашумело, как бывает, когда нырнёшь в Ангару слишком глубоко. Я видела его лицо, видела, как шевелятся его губы, но не слышала. Перед глазами было другое: зимовье, лучина, его руки на моих руках, когда он показывал, как держать нож, чтобы не соскальзывал. Апрель. Ангара, вздувшаяся, серая. Льдины, которые лезут друг на друга с грохотом и треском, как живые. Мы стоим на высоком берегу, и он держит меня за руку, и говорит...

В госпитале. Всю зиму.

— ...ешьте, пока не остыла, — сказал он и выпрямился. — Через полчаса заберу миску.

Дверь закрылась. Ключ повернулся дважды.

Я сидела, глядя на железную дверь, и вдруг поняла, что сжимаю край койки так, что побелели пальцы. Я разжала руки. Взяла миску. Каша была овсяная, на воде, чуть тёплая, без соли.

Я съела её всю. Мне нужны силы. Устинья сказала: «Дойди». Я дойду.

А ему придётся вспомнить. Не знаю как. Но придётся.

* * *

«Стерх» шёл вниз по Ангаре трое суток.

Он шёл медленно, днём и ночью, обходя мели и острова, и каждые несколько часов причаливал к очередному посёлку.

Гудок. Тишина. Шаги Сборщиков по трапу. Через несколько часов снова шаги, тяжелее, — когда несли десятину. Иногда детский плач. И снова гудок, и пол под ногами снова начинал дрожать.

Я научилась различать звуки. Тяжёлые мешки с рыбой. Тюки пушнины — шуршат и почти ничего не весят. Звонкий стук ящиков с золотым песком. Детские шаги — лёгкие, неуверенные, иногда босые по железу. И ещё одни — твёрдые, решительные или, наоборот, нерешительные, шаркающие, — по одному на каждый посёлок. Их уводили в каюты дальше по коридору. Восьмая. Девятая. Десятая.

Перегонщики.

К концу первых суток нас было пятеро. К концу вторых — девять.

Прогулку давали раз в день, после обеда. Нас выводили на кормовую палубу всех вместе, и мы ходили по кругу вдоль борта, огороженного леерами, под присмотром троих Сборщиков с автоматами. Ветер на реке был ледяной, он задувал под куртку и пробирал до костей. Вокруг расстилалась Ангара — широкая, тёмная, вся в мелкой ряби, и над ней, по обоим берегам, бесконечно тянулась тайга, рыжая от лиственниц, чёрная от елей.

Я ходила по кругу и смотрела на других. Как на зверей. Сколько, какие, у кого что.

Первую я заметила сразу, ещё в первый день, потому что её трудно было не заметить. Она шла передо мной по кругу

и всё время оглядывалась, и стоило мне поймать её взгляд, как она тут же заговорила:

— Ты откуда? Я из Мотыгино. Ты из Подкаменки? Я видела, как тебя грузили. Тебя весь посёлок провожал, вот это да. А меня никто не провожал, только мамка, и то до мостков, потому что у неё младенец и ей некогда. Меня Лёля зовут. Лёля Сафонова. А тебя?

— Вета.

— Вета! Красиво. Это от чего — Виолетта? Или Иветта?

— Елизавета.

— А, — сказала Лёля разочарованно. — Ну всё равно красиво.

Ей было шестнадцать, но выглядела она на четырнадцать — маленькая, худая, с круглым веснушчатым лицом и двумя косами цвета соломы. Глаза у неё были светлые, распахнутые и всё время блестели, будто она вот-вот заплачет — или засмеётся, тут не угадаешь. А руки... Руки у неё были исписаны до локтей. Я увидела это, когда она поправляла рукав. Мелко, густо, в несколько слоёв, разными почерками и разной сажей. Ей было шестнадцать, а записей было как у сорокалетней.

Она заметила, что я смотрю.

— Это я сама, — сказала она чуть смущённо. — Я всё записываю. Всё-всё. Мамка говорит, что я дура и скоро места не останется. А я боюсь забыть. Знаешь, как страшно — проснуться и не помнить? Ты ведь тоже просыпаешься. Тебе

тоже страшно?

— Страшно, — сказала я.

— Вот! — обрадовалась Лёля. — А у тебя всего три строчки. Как ты так живёшь? Я бы не смогла.

— Привыкла.

— А «Дойди» — это тебе кто написал?

— Бабушка, — сказала я. Устинья мне, конечно, не бабушка. Но так проще.

— Хорошая бабушка, — сказала Лёля серьёзно. — Мне бы тоже такое написать. Я как раз думала, что себе написать перед Перегоном. Ты не знаешь, что там пишут?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, — вздохнула Лёля. — Мамка сказала: пиши «Не верь никому». Но это скучно. Все так пишут.

Она болтала весь час прогулки. Я почти не отвечала, но ей, кажется, этого и не требовалось. Ей нужно было, чтобы кто-то шёл рядом и слушал. Я шла рядом. Мне было не жалко.

Мне было жалко её. Вот это было плохо. Это было очень плохо. Потому что я смотрела на её тонкие руки, на её косички, на её мокрые блестящие глаза и прикидывала, как прикидываю всегда: сколько она протянет в тайге? Неделю? Три дня?

Я не хотела этого знать.

* * *

Второго перегонщика, которого я запомнила, подняли на

борт на третий день, на Стрелке.

Стрелка — это место, где Ангара впадает в Енисей. Енисей больше Ангары втрое, и вода у них разная: ангарская — тёмная и прозрачная, а енисейская — мутная, желтоватая, и там, где они сливаются, по реке на много километров тянется граница, будто кто-то провёл по воде линию. До Оттепели здесь был город, Лесосибирск, большой, с лесопилками и портом. Теперь от него осталась пристань, обугленные коробки домов вдоль берега и посёлок — тоже Стрелка, — который жил тем, что обслуживал Державу. Здесь был порт, склады, и сюда из Ачинска приходила железная дорога. Здесь «Стерх» сдавал десятину и забирал топливо.

Мы стояли там полдня. Через иллюминатор я видела причал, краны, длинное серое здание пакгауза и рельсы, которые подходили прямо к воде. На рельсах стоял поезд.

Я никогда раньше не видела поезда. Мама рассказывала про них, Устинья рассказывала, но одно дело — рассказы, а другое — когда видишь. Он был огромный. Длинный, тёмно-зелёный, весь в железных листах, склёпанных между собой, с узкими щелями-окнами и угловатыми башенками на крышах вагонов. Впереди — тяжёлая машина, похожая на огромный утюг, с белым журавлём на боку. Над машиной поднимался дым.

На боку первого вагона было выведено краской: «ЕНИСЕЙ».

Я прижалась лицом к стеклу.

Я ждала весь день. Я слышала, как за переборкой кашлял Сёма. Я стучала ему — тук, тук-тук, тук, тук-тук-тук — и он отвечал. Каждый раз. Он, кажется, сам не понимал, почему отвечает, но отвечал. Один раз я услышала сквозь железо, глухо, как из-под воды, его голос: «Кто там?» — и не смогла ответить. Если бы я крикнула «Это Вета!», нас бы услышали в коридоре.

Ближе к вечеру к «Стерху» подвели перегонщика со Стрелки. Я видела его в иллюминатор — он шёл по причалу между двумя Сборщиками и был выше обоих на полголовы. Здоровенный, широкоплечий, в распахнутом бушлате, без шапки, бритый наголо. Шёл он не так, как шли все остальные — сгорбившись, оглядываясь, — а свободно, вразвалку, будто его не на смерть вели, а на гулянку. На причале его провожало человек пятнадцать — все крепкие, все такие же бритые, — и они кричали ему вслед и свистели, а он не оборачивался, только поднял над головой руку со сжатым кулаком.

На его кулаке, на костяшках пальцев, было что-то написано. Я не разобрала что.

Узнала на следующий день, на прогулке. Там было вытатуировано по букве на каждой костяшке: «Б-Е-Р-И».

— Гордей, — представился он, ни к кому в отдельности не обращаясь, когда нас выпустили на корму. — Брагин. Стрелка. Кто тут ещё живой?

Никто ему не ответил. Он оглядел нас всех по очереди —

девять человек, — и в его взгляде было то же самое, что во взгляде Шмакова: прикидка. Кто сколько стоит.

На мне его взгляд задержался. Он увидел лук. Обрез на бедре. Нож за голенищем. Как я стою.

Потом он отвернулся и стал смотреть на Лёлю.

— Ты чья такая, мышка? — спросил он лениво.

Лёля попятилась.

— Сафонова. Из Мотыгино.

— Мотыгино, — повторил Гордей, как будто пробуя слово на вкус. — А что у тебя, Сафонова из Мотыгино, в мешке?

— Ничего, — сказала Лёля. — Сухари. Мамка дала.

— Покажи.

Лёля посмотрела на Сборщиков у лееров. Они стояли с автоматами и смотрели на реку. Им было всё равно.

— Покажи, мышка, — сказал Гордей мягко, почти ласково, и шагнул к ней. — Я просто посмотрю. Интересно мне.

Я не собиралась вмешиваться. Честное слово. Я сказала себе ещё вчера: никого не жалеть, ни во что не лезть. Дойди. Береги Сёму. Всё.

Но я уже стояла между ними.

Я не помню, как сделала эти два шага. Просто вдруг оказалось, что Гордей возвышается надо мной, огромный, как медведь, и от него пахнет табаком и рыбьим жиром, а у меня за спиной Лёля тихонько дышит мне в затылок.

— Она сказала — сухари, — сказала я.

Гордей посмотрел на меня сверху вниз. Долго. С интере-

сом.

— А ты кто такая?

— Ковалёва. Подкаменка.

— Подкаменка, — повторил он с тем же выражением. — С луком. Охотница, значит?

— Охотница.

— На кого охотишься?

— На всех, — сказала я. — Кто полезет.

Секунду было тихо. Потом Гордей откинул голову и захохотал — громко, весело, раскатисто, на всю реку.

— Ух ты! — сказал он, отсмеявшись. — Ух ты, Подкаменка. Ладно. Ладно. Мы ещё поговорим. Там, — он махнул рукой куда-то за борт, на берег, на тайгу, — там поговорим. Без этих.

Он кивнул на Сборщиков, развернулся и пошёл по кругу дальше, насвистывая.

Я выдохнула. Руки у меня дрожали. Я сунула их в карманы.

— Спасибо, — прошептала Лёля у меня за спиной.

— Не за что.

— Нет, правда. Спасибо. Можно я с тобой буду ходить? На прогулке? Он ведь не отстанет.

Я хотела сказать «нет». Я должна была сказать «нет».

— Можно, — сказала я.

Краем глаза я заметила, что у лееров, рядом с двумя другими Сборщиками, стоял Яр. Не знаю, когда он подошёл. Он

не смотрел на реку, как остальные. Он смотрел на меня, и лицо у него было непроницаемое.

Потом он отвернулся.

* * *

Ночью меня разбудил шум.

Я спала плохо, как все эти три ночи, — урывками, вздрагивая от каждого звука. А тут проснулась сразу и до конца, как от выстрела. Было темно, только в иллюминаторе дрожал жёлтый свет. «Стерх» не шёл — стоял, я это чувствовала по неподвижному полу. Где-то совсем рядом лязгало железо, кто-то кричал команды, шипел пар.

Я вскочила и прильнула к стеклу.

Причал был залит светом прожекторов. Бронепоезд «Енисей» стоял у самой воды, и из его машины валил белый пар, медленно растекаясь над рельсами. Двери одного из вагонов были открыты. От «Стерха» к вагону тянулась цепочка Сборщиков, а между ними шли дети.

Медицинский список. Девять человек, может, десять. Несли на руках младенцев. Вели за руку тех, кто постарше. Кто-то хромал, опираясь на костыль.

Петька Зуев. Я узнала его по костылю. Он ковылял, закусив губу, и Сборщик подталкивал его в спину.

А впереди него — тонкий, светлый, в моём старом свитере, с рукавами до кончиков пальцев...

— Сёма, — сказала я.

Шёпотом. Он не мог меня услышать.

Я ударила ладонями по стеклу.

— Сёма! Сёма!

Толстое стекло, решётка, шум машин, шипение пара. Он не слышал. Он шёл, держась за руку Сборщика, маленький, сутулый, и кашлял — я видела, как вздрагивают его плечи.

Я колотила в иллюминатор кулаками. Потом схватила кружку и стала бить ею. Стекло не поддавалось. Тогда я бросилась к двери и забарабанила в неё:

— Откройте! Откройте! Мне надо... Пожалуйста! Это мой брат! Мне надо попрощаться!

Никто не ответил. В коридоре было тихо.

Я вернулась к иллюминатору. Сёма уже стоял у подножки вагона. Сборщик подхватил его под мышки, чтобы подсадить на высокую ступеньку. И в этот момент Сёма вдруг обернулся. Не на меня. Не на иллюминатор — он не знал, где я. Просто обернулся на «Стерх». На весь этот огромный, серый, железный «Стерх» с белым журавлём на борту. Как будто искал что-то.

А может быть, мне это показалось.

Сборщик поднял его, и он исчез в тёмной двери вагона.

Петька Зуев шёл следом. Сейчас его тоже поднимут, и он исчезнет. И тогда я вспомнила то, что обещала Устинье. Я рывком открыла задвижку на иллюминаторе — у него была форточка, крохотная, в ладонь, которую я нащупала в первую же ночь, — и прижалась к щели губами.

— Петька! — заорала я изо всех сил. — Петька Зуев! Ты

Зуев! Пашка за тобой придёт! Слышишь? Пашка придёт! Ты Зуев!

На причале несколько голов повернулись в сторону «Стерха». Петька тоже повернулся. Он стоял, опираясь на костыль, и смотрел, открыв рот, и я не знала, услышал ли он — и понял ли. Потом его подняли в вагон.

Через секунду в мою дверь ударили снаружи так, что задрожали стены.

— Заткнись! — рявкнул кто-то. Не Яр. Кто-то чужой.

Я отпрянула от иллюминатора и закрыла форточку.

Двери вагона задвинулись. Поезд дал гудок — не такой, как у «Стерха», а высокий, пронзительный, как крик. Пар ударил в стороны белыми клубами. И «Енисей» медленно, лязгая, тронулся, набрал ход и ушёл в темноту, туда, где за пакгаузом начинался лес, — на юг. В Купол.

Я долго стояла у иллюминатора, хотя смотреть было уже не на что. Потом пошла к переборке. Положила ладонь на холодное железо.

Постучала.

Тук. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук.

Тишина.

Конечно, тишина. Я знала. Я просто должна была проверить.

* * *

Утром, когда Яр принёс кашу, я не встала с койки.

Он поставил миску у порога, как всегда. Постоял.

— Вы кричали ночью, — сказал он.

Я не ответила.

— Шмаков хотел вас наказать. Лишить прогулки и еды до Красноярска.

— И что?

— Я сказал ему, что перегонщик, которого сутки не кормили, — это плохое шоу. Зрители в Куполе не любят, когда у участников заранее нет сил. Он согласился.

Я повернула голову и посмотрела на него.

— Почему?

— Что — почему?

— Почему вы заступились?

Он пожал плечами.

— Я на вас поставил. Мне невыгодно, чтобы вы сдохли раньше времени.

Это было грубо. И, наверное, правдиво. Но он сказал это, стоя в дверях, опустив глаза, и ковырял носком ботинка заклёпку на полу. А два года назад, когда ему было неловко, он делал так же. Ковырял носком валенка половицу в зимовье.

— Вы обещали, что он поедет на поезде, — сказала я. — Вы не сказали, что ночью. Вы не сказали, что я его не увижу.

— Я не обещал, — сказал он. — Я рассказал, как будет.

— Вы знали, что мне нельзя будет с ним попрощаться.

Он помолчал.

— Знал.

— И ничего не сказали.

— А что бы это изменило? — Он наконец поднял глаза. — Вы бы всё равно кричали. Только начали бы на день раньше.

Мы смотрели друг на друга.

— Он вас не помнит, — сказал Яр тихо. — Вашего брата. После прошлого снега. Это написано в медицинской записи. Для него вы — женщина, которая его кормила. Вы правда думаете, что он заметил, что вы не попрощались?

Мне захотелось его ударить. По лицу, наотмашь, туда, где шрам. Я даже почувствовала, как сжался кулак.

— Он ответил мне, — сказала я. — Через стену. Три ночи подряд. Он не помнит, а рука помнит. Вы такого в своём Куполе не знаете, да? Что можно не помнить и всё равно знать?

Он стоял в дверях и смотрел на меня так, будто я ударила его — без всякого кулака.

Потом, ничего не сказав, вышел. Ключ повернулся дважды.

Каша остыла. Я её съела.

Мне нужны силы.

Глава 5. Красноярск

Енисей против течения «Стерх» шёл двое суток, тяжело, натужно, будто пароход старел с каждым километром. Машины ревели день и ночь, и от этого рёва у меня ныли зубы.

Берега здесь были другие. На Ангаре тайга подходит к самой воде, а Енисей течёт в широкой долине, и по его берегам тянулись поля — давно заброшенные, заросшие березняком и иван-чаем, с остовами ржавых машин посреди. Иногда — деревни. Пустые. Чёрные провалы окон, провалившиеся крыши, церкви без куполов. В одной деревне, на высоком берегу, я увидела на стене дома огромные белые буквы, выведенные краской, наполовину смытые дождями: «Я ПЕТРОВ ИВАН ЖИВУ ЗДЕСЬ НЕ ТРОГАЙТЕ». И ниже, другой рукой, мельче: «Где моя жена?»

Устинья рассказывала про Первую зиму. Это когда иней пришёл в первый раз. Никто тогда не знал, что это такое. Выпал снег — и в одну ночь вся страна забыла год. Никто не понимал, что случилось. Люди просыпались и не знали, почему они здесь, почему зима, где те, кого они помнят, и откуда взялись те, кого не помнят. Врачи забыли, кого лечили. Водители — куда ехали. Солдаты — кому служат. Устинья говорит, что самое страшное было не забыть, а не знать, что забыл. Все думали, что сошли с ума. Кто-то думал, что сошли с ума остальные.

Потом выпал второй снег. Потом третий. К третьей зиме поняли, что это навсегда.

Большие города не пережили. Слишком много людей, которые друг друга не помнят. Красноярск горел, говорит Устинья, всю вторую зиму, и дым было видно из Подкаменки. Отсюда — триста километров. Я тогда не верила. Теперь, когда «Стерх» на исходе второго дня обогнул длинный остров и из-за поворота реки показался город, — поверила.

Он был огромный. Я никогда не видела ничего такого огромного. Он лежал по обоим берегам Енисея и уходил в обе стороны до самого горизонта, вверх по сопкам — тысячи домов, высоких, в десять, в двадцать этажей, серых, бурых, чёрных. Над рекой висели мосты — один целый, длинный, на высоких опорах, а другой переломленный посередине, и половина его торчала из воды, как рёбра огромного зверя. Окна в домах были пустые. Многие дома почернели от огня. Некоторые наполовину обрушились, и их внутренности — комнаты, стены, лестницы — было видно, как у разрезанного пирога.

И ни одного дымка. Ни одного огонька. Только вороны, тучи ворон, которые кружили над крышами и кричали так, что их было слышно даже сквозь рёв машин.

На высокой сопке над городом, на самой вершине, стояла маленькая белая часовенка. Целая. Одна на весь мёртвый город.

— Красноярск, — сказал кто-то за моей дверью. — При-

были.

* * *

Нас вывели на берег в сумерках — всех вместе, одиннадцать человек с Ангары и Енисея. Гордей Брагин шёл впереди и озирался по сторонам с таким видом, будто приехал на ярмарку. Лёля держалась за мой рукав. Остальных я уже знала в лицо, хоть и не со всеми говорила: Ульяна Кедрова из Енисейска, рослая, некрасивая, с умными холодными глазами, — она ни с кем не разговаривала, кроме Гордея; Денис Огнев, Ваня Тетерин, Савва Ерохин — тихий лобастый парень с Подкаменной Тунгуски, у которого всё лицо было изрыто оспинами. И другие.

Нас вели по разбитой улице между мёртвыми домами, и Сборщики шли по бокам с фонарями. Под ногами хрустело стекло. Вдоль улицы стояли ржавые остовы машин, сотни машин, бок о бок, — будто когда-то все разом поехали куда-то и не доехали. В одной машине на переднем сиденье сидел скелет в истлевшей куртке, уронив череп на руль. Лёля увидела его и тихонько ахнула. Я сжала её руку.

Потом улица кончилась, и мы вышли на площадь.

Это был вокзал. Я поняла сразу, хотя никогда раньше не видела вокзалов. Длинное здание, светло-зелёное с белым, с колоннами и высокими окнами, а над серединой — башенка со шпилем, тонким и острым, как игла. Шпиль был цел. Окна вокзала — целы. И в них горел свет. Тёплый, жёлтый, живой свет — первый за весь этот бесконечный мёртвый город.

Вокруг площади шёл забор из бетонных плит с колючей проволокой поверху. У ворот стояли Сборщики, на вышках по углам — тоже. Над воротами висел белый журавль на сером щите и надпись: «ДЕРЖАВА ТЁПЛЫХ ГОРОДОВ. ПОСТ РУБЕЖ-1».

А на крыше вокзала, на фронтоне под шпилем, висело огромное полотнище — белое, с синими буквами, такими большими, что их было видно, наверное, с другого берега:

«СОРОКОВОЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ОТТЕПЕЛИ. ПЕРЕГОН. КУПОЛ ПОМНИТ ВАС».

— Купол помнит вас, — прочитала Лёля вслух шёпотом. И посмотрела на меня. — Это хорошо или плохо?

Я не ответила.

* * *

Внутри вокзал был похож на огромную пещеру. Потолок такой высокий, что терялся в полутьме, на нём — остатки росписи: небо, облака, какие-то люди в старинной одежде с поднятыми руками. Пол из каменных плит, местами треснувших. Вдоль стен стояли ряды железных коек с серыми одеялами. Посередине — длинные столы. В дальнем конце — высокий помост, а над ним, на стене, — прямоугольник, огромный, чёрный и гладкий, похожий на кусок ночного неба.

Там уже были люди. Человек двенадцать, может быть, больше. Они сидели на койках, за столами, кто-то спал, кто-то ел. Все одного возраста с нами. Все с исписанными рука-

ми. Перегонщики — из других мест, с юга, с запада, их привезли сюда раньше нас.

Они подняли головы, когда мы вошли, и посмотрели на нас. А мы посмотрели на них.

Никто ничего не сказал. Все прикидывали.

* * *

Тимур подсел ко мне за ужином.

Ужин был самый лучший, какой я ела в жизни. Это я не сразу поняла, а когда поняла, мне стало не по себе. Похлёбка с настоящим мясом — не вяленым, не копчёным, а свежим, мягким. Белый хлеб — ноздреватый, с хрустящей коркой, ещё тёплый. Масло — жёлтое, сладкое. Варёные яйца. Какие-то красные круглые плоды, сочные и кисловатые. «Помидоры», — сказал кто-то. И чай. Сладкий. С сахаром.

Я ела медленно и всё время думала: зачем? Зачем нас так кормят? И нашла ответ, который мне не понравился. Затем же, зачем мы кормим перед зимой свинью.

— Не нравится?

Я подняла голову. Напротив меня за длинным столом сидел парень — тёмноволосый, смуглый, худой, с острым подбородком и острыми скулами. Глаза у него были узкие, чёрные и такие весёлые, будто он только что услышал хорошую шутку и до сих пор над ней смеётся.

— Нравится, — сказала я.

— А ешь, как будто отравлено.

— Может, и отравлено.

Он засмеялся. Легко, открыто, запрокинув голову.

— Нет, — сказал он. — Отравлять нас им невыгодно. Мы им нужны живыми и красивыми. Хотя бы на первые пару дней. Тимур. — Он протянул мне руку через стол.

Я посмотрела на руку. Потом пожала. Крепкая, сухая, тёплая.

— Вета.

— Знаю, — сказал Тимур. — Подкаменка. Охотница. Набила морду Брагину на «Стерхе».

— Я не била.

— Значит, почти набила. Это уже легенда. — Он подмигнул. — Слухи тут быстро ходят. Мы ж все тут сидим, как куры в курятнике, делать нечего, только болтать.

— А ты откуда?

— Шира, — сказал он. — Хакасия. Это на юге. Степи, озёра, бараны. Слыхала?

— Нет.

— Ну и правильно. Ничего интересного.

Он говорил легко, быстро, и всё время улыбался. Но я смотрела не на его улыбку. Я смотрела на его руки. Он сидел, опёршись локтями о стол, рукава его рубахи были закатаны, и руки у него были исписаны, как у всех. Имя на левой — «Тимур Гарипов». На правой — «Верь Айгуль». Ниже — ещё строчки: про какой-то колодец, про брата, про долг. Нормальные записи. Как у всех.

Только у всех записи — разные. Старые и новые. Выцвет-

шие голубые, как мамина на моей руке, и свежие, тёмные. Каждая сделана в свой год, в свой Канун, разной сажей, разной рукой, разной иглой. По рукам человека из Беспамятья можно прочитать, сколько ему лет, даже не глядя на лицо: чем больше слоёв, тем старше.

У Тимура все записи были одинаковые. Один цвет. Одна глубина. Один почерк. Как будто их сделали за одну неделю.

— Что? — спросил Тимур, перехватив мой взгляд.

— Ничего, — сказала я и опустила глаза в тарелку.

— У тебя рука воспалилась, — сказал он, кивнув на мою левую. Повязку я сняла ещё на «Стерхе», и «ДОЙДИ» было видно. Кожа вокруг букв всё ещё была красная и горячая. — Свежая?

— Неделя.

— Загноится. — Он сунул руку в карман куртки, висевшей на спинке стула, и выложил на стол маленькую металлическую трубочку, плоскую, с винтовой крышкой. — Мазь. Намажь на ночь. Через два дня пройдёт.

Я посмотрела на трубочку. Она была гладкая, блестящая, с какими-то мелкими печатными буквами. Такую нельзя сделать в посёлке. Такую вообще нельзя сделать — нигде, кроме одного места.

— Откуда у тебя?

— Выменял, — сказал Тимур беспечно. — У нас там через степь торговцы ходят. С юга. У них всякое бывает.

— А тебе самому не нужно?

— Мне-то? — Он закатал рукав выше. — Мои давно зажили. Бери, бери. Не бойся, не отравлено.

Я взяла трубочку. Покрутила в пальцах.

— Сколько снегов ты помнишь, Вета из Подкаменки? — спросил он вдруг.

Он спросил это тем же лёгким, весёлым голосом. Но глаза у него на секунду перестали смеяться.

Я подняла голову и встретила его взгляд.

— Один, — сказала я. — Как все.

— Как все, — повторил Тимур. И снова засмеялся. — Ну конечно. Это я так, шучу. У нас в Шире такая присказка. Спроси человека, сколько снегов он помнит, — и узнаешь, врёт он или нет.

— И как?

— Ты, — сказал Тимур, вставая и подхватывая свою миску, — врёшь очень красиво. Мне нравится. Спокойной ночи, Подкаменка.

И ушёл, насвистывая.

Я смотрела ему вслед. Металлическая трубочка жгла мне ладонь.

Мазь я в ту ночь всё-таки намазала. Через два дня всё прошло. Он не соврал.

Но я долго не могла заснуть.

* * *

Утром нам показали пастырей.

Всех двадцать три перегонщика выстроили в главном за-

ле перед помостом. Нас было двадцать три — я пересчитала. Четырнадцать парней и девять девушек. Самой младшей, Лёле, шестнадцать. Самым старшим — Гордею и ещё двоим — по девятнадцать.

На помост поднялись трое. Двоих я знала.

Шмаков — бритый, белоглазый, руки в карманах, на лице ленивая скука.

Яр. В серой куртке, застёгнутой до горла. Прямой, как палка. Он смотрел поверх наших голов в дальнюю стену, и лицо у него было как вырезанное из дерева.

А третьей была женщина. Высокая, сухая, лет сорока пяти, с коротко стриженными седыми волосами и с длинным, узким, обветренным лицом. Не красивая. Но смотреть на неё хотелось — так смотрят на старое дерево, которое вросло в скалу и выстояло сто зим. Она была в серой куртке, как остальные, но рукава её были закатаны до локтя.

И у неё были строчки.

Я не поверила глазам. Синие, выцветшие почти до белизны, старые-старые буквы на обеих руках — от запястья до локтя. Человек из Купола. Сборщик. С записями.

— Меня зовут Марта Лисовская, — сказала женщина. Голос у неё был низкий и хриплый, будто сорванный когда-то давным-давно криком. — Старший пастырь Перегона. Со мной — пастыри Шмаков и Волынский. Мы пойдём за вами. Всю дорогу, до самых ворот. Мы будем видеть всё, что вы делаете. Но мы не будем ни помогать вам, ни мешать. Вы

этого, наверное, не понимаете, так что я объясню подробно.

Она объясняла около получаса. Медленно, просто, без лишних слов. Я запомнила всё. Я всегда всё запоминаю.

Правило первое. Финиш — Западные ворота Новосибирского Купола, на берегу Оби. До них — шестьсот двенадцать километров по старой железной дороге. Идти можно как угодно, не обязательно по рельсам. Но ворота одни.

Правило второе. Срок — до первого снега. Не до определённого дня — до снега. Когда выпадет снег, Перегон заканчивается. Для всех. Кто не успел — остаётся в Беспамятье. Таким, каким его сделает иней. По сводке метеослужбы Купола, первый снег ожидается не ранее восьмого ноября. Сегодня двадцать второе октября. Значит, у вас примерно шестнадцать дней.

Не ранее восьмого ноября, — повторила я про себя. А Устинья говорила — к двадцать восьмому октября. Плюс-минус неделя. Устинья ни разу за сорок лет не ошиблась больше, чем на неделю.

Правило третье. Оружие и снаряжение — только своё, что привезли с собой. Каждому выдадут паёк на три дня, флягу и карту. На карте отмечены «колодцы». Это склады Державы — старые станции вдоль дороги. Там есть еда, вода, одеяла, лекарства. Первый — на станции Кача, в сорока километрах. Потом — в Ачинске, в Боготоле, в Мариинске, в Тайге, в Юрге. Припасов в каждом колодце меньше, чем вас.

На этом месте все переглянулись. Гордей Брагин ухмыль-

нулся.

Правило четвёртое. Каждому перегонщику ставится «глаз». Его снимут только у ворот. Пока глаз на вас, Купол вас видит. Если глаз сорвать — вы выбываете из Перегона. Что это значит, спросите у пастыря Шмакова.

Шмаков лениво вытащил руку из кармана и показал пальцем вверх.

Мы все задрали головы. Под потолком, среди облупленных облаков и людей с поднятыми руками, медленно кружили какие-то тёмные предметы. Сначала я подумала — птицы. Но это были не птицы. Маленькие, с ладонь, круглые, с четырьмя крошечными крылышками-винтами, жужжащими так тонко, что почти не слышно. На брюхе у каждого блестело что-то стеклянное.

— Сычи, — сказал Шмаков. — Они будут лететь над вами всю дорогу. Если сорвёте глаз — сыч вас найдёт. Он маленький. Но в нём есть кое-что. Достаточно.

Больше он ничего не сказал. Не нужно было.

Правило пятое. Кроме этих правил — правил нет.

Марта сказала это последним и обвела нас всех взглядом. Медленно, по одному, каждого. Мне показалось, что на мне она задержалась дольше, чем на других. Но, может быть, мне показалось.

— Никаких правил, — повторила она. — Вы понимаете, что это значит. Вам могут помочь, и вам могут помешать. Пастыри не вмешаются. Купол не вмешается. Кроме снега,

вас ничего не остановит.

Она замолчала. А потом вдруг сказала — тише, будто не нам, а сама себе:

— Тридцать лет назад я стояла там, где стоите вы. В первом Перегоне. Нас было сорок. Дошли четверо.

Она подняла руки — обе, ладонями к нам, — и показала свои выцветшие строчки.

— Это последнее, что я написала себе в Беспамятье. Больше я ничего не писала. Мне было не нужно.

На левой руке у неё, у самого локтя, было написано старыми, полустёртыми буквами одно слово. Я прищурилась, чтобы разобрать.

«ЗАЧЕМ».

* * *

Глаз мне ставил Яр.

Так получилось. Или не получилось, а было устроено — я не знаю. Нас разделили на три группы, по семь-восемь человек, и каждая группа подходила к одному из пастырей. Я попала к нему.

Он стоял у стола, на котором лежали в ряд глаза — плоские чёрные кружочки размером с монету, и рядом — баночка с чем-то прозрачным и вязким. Перед ним выстраивалась очередь, и он делал всё быстро, молча, как машина: «Растегнуть. Здесь». Капля из баночки. Чёрный кружочек — на грудину, чуть ниже ямки на шее. Прижать ладонью. Подержать. «Следующий».

Я встала перед ним и расстегнула куртку. Потом рубаху. Две верхние пуговицы. Холодный воздух коснулся кожи.

Он взял глаз. Поднял руку. И остановился.

Я сначала не поняла почему. Потом поняла. Он смотрел на мою кожу. На грудь, чуть ниже ключиц, там, где у меня было расстёгнуто.

Там было чисто. Ни одной строчки.

У всех остальных, кто стоял перед ним в очереди, на груди что-то было. У девочек на груди обычно пишут самое тайное — имена тех, кого любят. У парней — долги и клятвы. У Лёли, я видела, там было всё исписано в три слоя. У всех было что-то.

У меня — ничего.

Он поднял глаза. Мы смотрели друг на друга, и я считала. Одна секунда. Две.

— Мама рано ушла, — сказала я тихо. — Некому было колоть.

— Я не спрашивал, — сказал он так же тихо.

Он капнул мне на кожу холодную вязкую каплю. Приложил глаз. Прижал ладонью — тёплой, сухой, твёрдой. Подержал. Я чувствовала его ладонь у себя на груди и стук своего сердца прямо под ней. Громкий. Слишком громкий. Он, наверное, тоже чувствовал.

Два года назад он уже держал так ладонь. Ночью, в зимовье. Когда я сказала ему, что боюсь, и он ответил, что сердце у меня стучит, как у зайца, и что...

— Готово, — сказал он и убрал руку. — Следующий.

Я застегнулась и отошла. Ноги были ватные.

Глаз на груди был холодный, гладкий и почти невесомый. Я его почти не чувствовала. Только иногда, когда я двигалась, он чуть тянул кожу, и тогда мне казалось, что на меня кто-то смотрит.

Смотрел. Весь Купол.

* * *

Вечером, перед сном, чёрный прямоугольник на стене над помостом засветился.

Мы все сидели на койках, когда он вдруг вспыхнул, как огромное окно, в котором кто-то зажёг свет, и все разом замолчали. Лёля, которая сидела рядом со мной на моей койке, схватила меня за руку.

В прямоугольнике был человек. Огромный — во всю стену, только лицо и плечи. Немолодой, полный, румяный, с гладко зачёсанными белыми волосами и с такой широкой белозубой улыбкой, будто он очень рад нас видеть. На нём был тёмно-синий костюм, белая рубашка и на шее что-то вроде узкого цветного шарфа, завязанного узлом.

— Добрый вечер, Купол! — сказал он, и голос его загремел из всех стен сразу. — Добрый вечер, Новосибирск, Екатеринбург и Москва! Добрый вечер, мои дорогие! С вами Аркадий Звонарёв, и сегодня — сегодня! — у нас с вами особенный вечер. Сороковой год Великой Оттепели. Первый Перегон за десять лет. И я — да, да, я! — снова с вами, что-

бы рассказать вам о наших героях!

Лёля таращилась на экран с открытым ртом.

— Двадцать три смельчака! — гремел Звонарёв. — Двадцать три сердца из Беспамятья, которые завтра на рассвете выйдут в путь, чтобы доказать, что достойны помнить! Давайте же познакомимся с ними!

И прямоугольник погас, а потом вспыхнул снова — и там было лицо. Огромное, во всю стену. Веснушчатое, круглое, с двумя соломенными косичками.

Лёля вскрикнула.

— Ольга Сафонова, шестнадцать лет, посёлок Мотыгино! — сказал голос Звонарёва. — Самая юная участница этого Перегона! Посмотрите, какие у неё руки, друзья мои, — она записывает себе каждую мелочь! Что там у неё, интересно? Наши друзья из Летописи уже прочитали, и я вам расскажу... «Мамка любит Кольку больше меня»! Ох! Бедная девочка! Ставки на неё пока, увы, невысоки — один к сорока. Но кто знает, кто знает!

Лёля закрыла лицо руками.

Они показывали всех по очереди. Каждого. Лицо во всю стену, имя, посёлок, возраст. Что написано у него на руках — прочитанное, высмеянное, рассказанное на весь Купол. И ставки. Гордею Брагину — один к четырём, фаворит. Ульяне Кедровой — один к семи. Савве Ерохину — один к пятидесяти, последнее место.

Тимур Гарипов — один к двенадцати. «Весельчак из сте-

пей, друзья мои. Смотрите, как он улыбается!»

А потом на стене возникло моё лицо.

Я никогда не видела себя такой большой. Я вообще редко видела себя — в Подкаменке зеркал почти нет, у нас дома было одно, маленькое, мамино, треснувшее. А тут — во всю стену. Тёмные волосы, заплетённые в косу. Скулы. Обветренные губы. Глаза — серые, светлые, неожиданно светлые на загорелом лице. И взгляд. Холодный, пристальный, исподлобья. Как у волчицы.

Это была я? Это я так смотрю?

— Елизавета Ковалёва, семнадцать лет, посёлок Подкаменка! — объявил Звонарёв. — Охотница! Лучница! И, говорят, остра на язык! Обратите внимание, друзья, — у неё всего три строчки! Три! Удивительная скромность! «Ты Вета». «Береги Сёму». И — внимание — «Дойди»! Её брат, друзья, — Семён, девяти лет, — уже направлен на лечение в Центральный госпиталь Новосибирска. Она идёт к нему! Как трогательно! Ставки на Ковалёву — один к девяти. И, по слухам, — тут Звонарёв понизил голос и заговорщически подмигнул, — по слухам, один из наших пастырей сделал на неё личную ставку. Кто бы это мог быть, друзья? Кто бы это мог быть?

Я не смотрела на экран. Я смотрела на дальний конец зала, на помост, где стояли пастыри.

Шмаков ухмылялся. Марта смотрела в пол.

А Яр смотрел прямо на меня. Через весь зал, через два-

дцать три койки и двадцать три головы. Смотрел так, будто его самого поймали на чём-то.

Потом отвернулся и ушёл.

— До завтра, Купол! — сказал Звонарёв. — Перегон начинается на рассвете! И помните, друзья мои: Купол помнит всех!

Экран погас.

В темноте Лёля тихонько плакала рядом со мной, уткнувшись лицом в колени. Я не утешала её. Я не знала, что сказать.

«Береги Сёму». Это теперь знает весь Купол. И «один из пастырей сделал на неё личную ставку».

Что знает весь Купол — знает Летопись.

Глава 6. Старт

Нас подняли в темноте, за два часа до рассвета, и дали позавтракать так же сытно, как вчера вечером. Я ела медленно и много. Я заставляла себя есть, даже когда уже не хотелось. Кто знает, когда я в следующий раз буду есть горячее.

Лёля не ела. Она сидела рядом, обхватив кружку с чаем обеими руками, и смотрела в одну точку.

— Ешь, — сказала я.

— Не могу.

— Ешь. Через три часа захочешь, а будет нечего.

Она посмотрела на меня мокрыми глазами и откусила кусок хлеба. Потом ещё. Потом съела всё, что было в миске, и запила чаем, давясь.

— Вета, — сказала она шёпотом. — Можно я с тобой пойду?

Я знала, что она спросит. Я ждала этого со вчерашнего вечера. Я даже приготовила ответ.

— Нет, — сказала я.

Лёля вздрогнула.

— Почему?

— Потому что я пойду быстро. Очень быстро. По тайге, без дороги. Ты не угонишься. И потому что вдвоём нас вдвое заметнее. И еды надо вдвое больше. И если тебя ранят — мне придётся выбирать: бросить тебя или остаться. А я не

могу остаться, Лёля. У меня брат.

— У меня тоже есть брат, — сказала Лёля. — Колька. Маленький. Его мамка любит больше меня. Они сказали на весь Купол.

— Я знаю. Прости.

Она долго молчала. Потом кивнула.

— Ладно, — сказала она и отвернулась.

Мне хотелось взять её за руку. Я не взяла.

* * *

Выход был с площади перед вокзалом.

Когда нас вывели, было ещё темно, но небо на востоке уже серело. Стоял мороз — небольшой, но ощутимый: лужи на площади затянуло ледком, изо рта шёл пар. Над нами в темноте тонко жужжали сычи. Я подняла голову и насчитала шесть, потом бросила считать.

На площади нас построили в линию. Двадцать три человека, плечом к плечу. Перед каждым на земле лежал холщовый мешок: паёк на три дня, фляга, карта в непромокаемом конверте. Я развязала мешок и проверила: сухари, белые, плотные, как камень; плитки чего-то коричневого, сладко пахнущего, — «шоколад», сказал кто-то; банки с мясом; соль; спички — целый коробок! Я переложила всё в мамин рюкзак. Флягу пристегнула к поясу. Карту развернула.

Карта была хорошая. Лучше, чем я ожидала. Красная линия железной дороги, синие нитки рек, зелёные пятна лесов, чёрные квадратики городов и станций. Колодцы — жирные

красные кружки: Кача, Ачинск, Боготол, Мариинск, Тайга, Юрга. И в самом конце, на краю листа, — большой серый круг, перечёркнутый белым журавлём. Новосибирский Купол.

Я сложила карту и сунула за пазуху.

Лёля стояла через три человека от меня. Гордей Брагин — в другом конце линии. Рядом с ним Ульяна Кедрова, Денис Огнев и Ваня Тетерин, все четверо уже вместе, плечом к плечу. Сговорились, значит, ещё вчера вечером. Гордей поймал мой взгляд и широко улыбнулся. Потом поднял руку и показал мне свой кулак. «Бери».

Тимур стоял на самом краю линии. Он не смотрел ни на кого. Он смотрел на запад, туда, где начиналась железная дорога, и лицо у него было сосредоточенное и совсем не весёлое.

Пастыри стояли перед нами, у ворот. Все трое в длинных серых куртках, с рюкзаками за спиной, с автоматами на ремнях. Марта Лисовская держала в руке какую-то короткую толстую трубку.

Небо на востоке порозовело.

Над площадью, над воротами, над всем мёртвым городом загремел голос — такой же, как вчера, из всех стен сразу, и я вздрогнула, хотя и ждала:

— Доброе утро, Купол! Друзья мои, рассвет! Рассвет сорокового года! Перегон! Начинается!

Марта Лисовская подняла трубку над головой.

— Удачи, — сказала она негромко. Нам. Не в громкоговоритель — нам.

И выстрелила.

Трубка хлопнула, и в серое небо взлетела красная звезда. Она повисла высоко над шпилем вокзала, разбрызгивая искры, и весь мир на мгновение стал красным — площадь, лица, руки, снег, которого не было.

Ворота открылись.

Двадцать три человека рванули вперёд.

* * *

Я не побежала.

Я подождала, пока все пробегут мимо, — пять, может быть, шесть ударов сердца. Пока Гордей со своими не скрылся за воротами, топоча, как стадо. Пока не пробежали все остальные — кто быстро, кто растерянно, кто озираясь. Пока Лёля, бросив на меня последний взгляд, не побежала за всеми.

Потом я поправила лямки рюкзака и вышла за ворота шагом.

Всё было просто. Я прочла карту ещё ночью, при свете лампы, пока все спали, и запомнила её — всю, до последней речки. Первый колодец — на Каче, в сорока километрах. Железная дорога идёт туда прямо, по долине. Все пойдут по рельсам, потому что по рельсам проще: ровно, видно, куда идти. Все захотят первыми добежать до колодца, потому что там еда, а еды меньше, чем людей. А Гордей добежит пер-

вым, потому что он сильнее всех. И будет там ждать.

Мне колодец не нужен. У меня еды на неделю: Ерёминские сухари, Брусницынские орехи, вяленая рыба, сало, а теперь ещё и державный паёк. Мне нужно идти быстро и долго. Мне нужно, чтобы меня никто не видел. Мне нужна тайга.

Вдоль железной дороги, к северу от неё, шли сопки. Невысокие, лесистые, тёмные. Я видела их ещё с вокзальной площади. Если идти по сопкам, вдоль железки, но в стороне, — путь будет длиннее, тяжелее, вверх-вниз, вверх-вниз. Но никто не увидит. И никого я не встречу.

Кроме Пустых.

Про Пустых я тоже подумала. Пустые живут в тайге. Но Пустые живут везде.

Я свернула с улицы в первый же проулок, пролезла через пролом в бетонном заборе и пошла на север, к сопкам.

Над головой у меня тонко жужжал сыч. Я подняла голову и посмотрела на него. Он висел метрах в двадцати надо мной, неподвижно, и стеклянный глаз на его брюхе поблёскивал в рассветном свете.

— Смотри, — сказала я ему. — Мне не жалко.

* * *

Город кончился не сразу. Сначала шли дома — высокие, мёртвые, с пустыми окнами. Потом — дома пониже, частные, деревянные, заросшие бурьяном по самые крыши. Потом — огороды, превратившиеся в березняк. Потом какие-то склады, гаражи, ржавые ворота, свалка. Под ногами

хрустел шлак и битое стекло. На одной стене гаража я увидела надпись, выведенную углём, огромными буквами: «НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ ЛЮДА». И ниже, той же рукой: «Я СЕРГЕЙ».

Потом я поднялась на первый склон, и город остался внизу.

Я обернулась один раз. Отсюда, сверху, он был виден весь — огромный, серый, бесконечный, в утреннем тумане, который поднимался от Енисея. Тонкий шпиль вокзала. Белая часовенка на сопке над городом. Чёрные коробки домов. Вороны.

Там, на рельсах, которые блестели в долине, уходя на запад, двигались крохотные точки. Перегонщики. Отсюда они были как муравьи.

Над ними висели сычи. Много сычей.

Я отвернулась и пошла в лес.

* * *

Это было легко. Сначала.

Сопки здесь были совсем не такие, как у нас на Ангаре. У нас — тёмная тайга: ель, пихта, кедр, буреломы, мох по колено, распадки, в которых и днём сумрак. А здесь — светлые сосняки и березняки, редкие, просторные, с рыжей опавшей хвоей и жёлтыми листьями под ногами. Земля сухая. Идти можно быстро, почти бегом. Я шла быстро. Я держала железную дорогу справа от себя, внизу, и иногда видела её сквозь деревья — рыжую от ржавчины, со сгнившими шпалами, —

и шла вдоль неё, по склонам, через вершины, вниз в распадки и снова наверх.

Солнце поднялось. Стало теплее. Я сняла шапку и сунула её в карман. Иней на траве растаял.

Я шла и считала шаги. Тысяча шагов — примерно семьсот метров, если по ровному. По склонам — меньше. За час — четыре-пять километров. До Качи — сорок. Если не останавливаться — к вечеру дойду. Но к колодцу я не пойду. Обойду. Переночую где-нибудь за станцией.

Я шла, и в голове было пусто и легко. Так бывает на охоте, когда долго идёшь по следу. Мысли уходят. Остаются только ноги, глаза, уши и нос. Где сломана ветка. Где примята трава. Откуда тянет ветер. Чем пахнет.

Пахло соснами. Дымом — далёким, едва уловимым, наверное, из лагеря пастырей. И ещё чем-то. Чем-то кислым, звериным, неприятным. Как пахнет логово. Как пахнет человек, который давно не мылся.

Я остановилась.

Запах шёл с севера. Слабый. Старый — не сегодняшний. Может, вчерашний. Может, позавчерашний.

Я присела и посмотрела на землю. Хвоя, листья, мох. Ничего. Я прошла десять шагов на север, на запах, и снова присела. На краю старой лесовозной дороги, в засохшей грязи, отпечатался след. Босой. Человеческий. Широкий, плоский, с растопыренными пальцами.

Пустые. Здесь проходили Пустые.

Я долго смотрела на след. Потом встала и пошла дальше, на запад. Быстрее, чем раньше.

* * *

К полудню я вышла на высокую сопку над рекой Качей и остановилась передохнуть.

Отсюда было хорошо видно. Внизу, в долине, петляла Кача — маленькая речка, узкая, быстрая, с ивняком по берегам. Через неё был перекинут железнодорожный мост — длинный, на каменных опорах, с ржавыми решётчатыми фермами. За мостом — станция. Несколько кирпичных зданий, водокачка с проломленной крышей, длинный пакгауз. На пакгаузе краской — красный круг. Колодец.

Я легла на живот на краю обрыва, за кустом можжевельника, и стала смотреть.

Я хорошо вижу. Лучше всех в Подкаменке. Мама говорила, что у меня глаза, как у ястреба. До станции было, наверное, с километр, но я различала людей. Фигурки. Вот четверо у пакгауза — один большой, огромный. Гордей. С ним — его трое. Вот ещё фигурки на мосту — пятеро, шестеро. Идут. Подходят к пакгаузу.

Я видела, как Гордей вышел им навстречу. Как он что-то сказал — я не слышала, конечно. Как один из шестерых шагнул вперёд и что-то сказал в ответ. Как Гордей ударил его.

Просто ударил. Без размаха, коротко, кулаком в лицо. Тот упал.

Остальные пятеро постояли. Потом попятились. Потом повернулись и пошли назад, через мост. Тот, кого ударили, поднялся и, шатаясь, пошёл за ними. Гордей стоял у пакгауза и смотрел им вслед, уперев руки в бока.

Сычи висели над станцией, как мухи над мясом.

Я лежала и думала: пятеро. Пятеро против четверых. Они могли бы. Если бы вместе. Если бы не испугались. Но они испугались. И ушли голодными. Теперь они будут идти по рельсам без еды и думать о следующем колодце, в Ачинске, до которого ещё сто сорок километров. А Гордей будет там раньше них.

Это и было то, о чём говорила Марта. Никаких правил.

Ещё двое подошли через полчаса. Парень и девушка. Они не стали подходить к пакгаузу. Они увидели Гордея издалека и свернули в сторону, в ивняк по берегу. Умные.

Ещё через полчаса подошёл один.

Я узнала его сразу. По походке — тяжёлой, неуклюжей, по тому, как он наклонял вперёд свою большую лобастую голову. Савва Ерохин. С Подкаменной Тунгуски. Тихий. Рябой. Один к пятидесяти.

Он шёл по шпалам прямо к пакгаузу. Не сворачивая. Не останавливаясь. Как будто не видел, что там стоит Гордей. Как будто ему было всё равно.

Я приподнялась на локтях.

Гордей вышел ему навстречу. Сказал что-то. Савва остановился. Ответил.

Гордей протянул руку — к его мешку.

Савва отступил на шаг.

Гордей снова протянул руку. И тогда Савва — тихий Савва, рябой Савва, Савва, который за три дня на «Стерхе» не сказал никому ни слова, — выхватил что-то из-за пояса и ударил. Быстро, снизу вверх. Блеснуло на солнце.

Только не Гордея. Гордей уже отскочил — для такого большого он был удивительно быстрым. Нож попал в того, кто стоял у Гордея за спиной. Денис Огнев. Я видела, как он схватился за руку и согнулся.

Дальше всё было очень быстро.

Гордей схватил Савву за шею. Одной рукой. Поднял — Савва был не маленький, но Гордей поднял его, как куль с мукой, — и ударил о рельс. Головой. Раз.

Савва упал на шпалы.

Гордей поднял его снова. И ударил ещё раз.

И ещё.

Я перестала дышать. Я лежала на краю обрыва и смотрела, и не могла отвести глаза, и не могла пошевелиться, и что-то во мне — не голова, а живот, руки, горло — кричало: «Сделай что-нибудь!» А голова, холодная, мамина, говорила: «Километр. Ты ничего не сделаешь. Из лука — не достанешь. Из обреза — тем более. Пока ты добежишь, всё кончится».

Всё кончилось раньше.

Гордей бросил Савву на шпалы. Нагнулся, снял с него ме-

шок. Вытащил из-под его ремня нож. Осмотрел. Сунул себе за пояс. Потом выпрямился, посмотрел вверх, на сычей, висевших над станцией, и — я видела это — поднял руку и помахал им. Как машут друзьям.

Сычи не шелохнулись.

Никто не пришёл. Ни пастыри, ни Сборщики, ни Купол. Никто.

Кроме снега, вас ничего не остановит.

Савва Ерохин лежал на шпалах лицом вниз и не шевелился. Над ним спустился один сыч — низко, метра на три, — повисел немного, жужжа. Потом поднялся и улетел.

Первый.

Двадцать два.

* * *

Я обошла станцию по большой дуге, через сопки, и спустилась к Каче в трёх километрах выше по течению. Перешла её вброд — вода была ледяная, мне по колено, и ноги сразу онемели. На том берегу растёрлась и переобулась в сухие портянки. Потом снова полезла вверх, в сосняк, и шла, не останавливаясь, до самых сумерек.

Я не думала о Савве. Я не позволяла себе думать о Савве. Я думала о шагах. Тысяча. Ещё тысяча. Ещё. Я думала о ногах — как ставить, куда ставить. Я думала о запахах, о следах, о ветре. Только об этом.

Но под всем этим, глубоко внизу, как подо льдом течёт Ангара, текло другое. Холодное и тёмное. Я не давала ему

подниматься наверх. Но оно было.

Он помахал им. Он помахал им рукой.

Когда стемнело, я нашла место для ночлега — ложбинку под корнями огромной вывороченной сосны, сухую, закрытую с трёх сторон. Нарубила лапника. Развела маленький костёр — крохотный, на ладонь, в ямке, чтобы не было видно издалека. Достала сухари и кусок сала. Поела. Попила воды из фляги.

Я сидела, протянув руки к огню, и слушала лес.

Лес был тихий. Ветер в верхушках сосен. Далёкий крик ночной птицы. Тонкое жужжание сыча — где-то наверху, в темноте. Я уже почти привыкла к нему.

И шаги.

Я замерла. Шаги были далеко — внизу, на склоне, метрах в ста. Неуверенные. Спотыкающиеся. Хрустели ветки. Кто-то шёл в темноте вверх по склону, прямо ко мне, и не умел ходить тихо. Совсем не умел.

Пустые ходят тихо. Пустые ходят как звери.

Я бесшумно отодвинулась от костра в темноту, сняла с плеча лук и наложила стрелу.

Шаги приближались. Тяжёлое дыхание. Всхлип.

— Вета? — сказал тоненький голос в темноте. — Вета, это ты? Пожалуйста, пусть это будешь ты...

Я опустила лук.

Она выползла на свет костра на четвереньках, исцарапанная, грязная, в изодранной куртке, с веточками в соломен-

ных волосах. Лицо распухло от слёз. На щеке — длинная кровавая царапина. Она увидела огонь, увидела меня — и разрыдалась так, что не смогла говорить.

— Лёля, — сказала я. — Лёля, ты с ума сошла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.